



ВСЕВОЛОД
ИСТАМКО

ТОРЕАДОРЫ
ИЗ
ВАСИЮКОВЫХ

3

Annotation

Решением Международного совета по детской и юношеской литературе эта книга в 1979 году внесена в почетный список Андерсена как одно из "выдающихся произведений современной детской литературы". Издание 2004 года и все последующие, несколько отличаются от оригинальной редакции, автор удалил идеологические наслоения, некоторые детали, непонятные современным детям и добавил новые сюжеты.

- [Тореадоры из Васюковки](#)
 - [Часть I](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Глава 12](#)
 - [Глава 13](#)
 - [Глава 14](#)
 - [Глава 15](#)
 - [Глава 16](#)
 - [Глава 17](#)
 - [Глава 18](#)
 - [Глава 19](#)
 - [Глава 20](#)
 - [Глава последняя](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
-

Тореадоры из Васюковки
трилогия о приключениях двух друзей
Новая авторская редакция с новыми
эпизодами

Часть I
(которую рассказывает Павлуша
Завгородний)

Глава первая

Метро под свинарником. Тореадоры из Васюковки. Собакевич

— Вот авантюрист сопливый! Ванька-а-а! Вылазь сейчас же! А то так всыплю — неделю не сядешь! Вылазь, слышишь!

Мы лежим в густом бурьяне за ригой, уткнувшись носами в землю, и не дышим.

— Вылазь, непутевый, а то хуже будет! Ты меня знаешь!

— Знаю, знаю, — едва слышно выдыхает мой друг и наконец отваживается подать голос.

— Дедушка! — жалобно отзывается он.

— Давай-давай!

— Дедушка, — еще жалобнее повторяет мой друг, — вы отойдите за хату, мы вылезем. Ведь вы же бить будете.

— Они еще мне условия ставить будут, вышкварки! А ну, вылезайте!

— Да мы же не хотели. Мы же хотели метро. Такое, как в Киеве.

— Я вам дам метро! Я вам такое метро дам, что...

— Мы же не знали. Мы сейчас все закидаем — ничего видно не будет. отойдите, дедушка.

Долго еще ведутся переговоры. Наконец дед в последний раз ругнулся, закашлялся, плюнул и поплёлся за хату.

Мы вылезаем из бурьяна.

У свинарника нас встречает гундосым хрюканьем пятипудовая свинья Манюня, противная и пятнистая, как географическая карта.

— У-у, скотина! Чтоб ты...

Это из-з неё мы попади в переплет.

У нас была прекрасная, благородная идея — провести под свинарником метро. Это должно было стать сюрпризом. Первая линия метро в Васюковке! Станция «Рига» — станция «Кривая груша». Три копейки в один конец. Родственники — бесплатно. С учительницы математики — пять копеек.

Мы уже прокопали почти до половины свинарника, и вдруг — непредвиденная катастрофа! — проклятая свинья Манюня провалилась в наше метро. Провалиться она сумела, а вот вылезти — дудки! И подняла такой крик, что приплелся дед. Ну и...

Горько вздыхая мы засыпаем метро. Изредка опасливо озираемся — не застанет врасплох нас дед. чтобы надрать уши. Хотя и обещал нам, что не тронет, пока не закончим, но кто его знает... Вы бы послушали, как он ругался, когда вытаскивал свинью! И где он таких слов набрался.

Но деда не видно. И пока мы работаем (а дело это долгое и нудное), я вас познакомлю с моим другом.

Вы, конечно, знаете, что есть такой остров — Ява. В индийском океане. То, что Ява, Суматра, Борнео, Целебес — Большие Зондские острова.

Но Ява — это не остров.

Ява — это мой лучший друг и напарник. Ява Рень.

Наверно, вам удивительно, что это за имя такое — Ява? Это он сам себя так назвал, когда ему только полтора года было. То ли он, пискля малая, хотел сказать: «Я — ваня», а вышло «Ява», то ли «Иван» у него так прозвучало (потому что по правде его Иваном зовут), но прицепилось это «Ява» к нему, как репей к собачьему хвосту. Даже милиционер Валигура, что живет в нашем селе, так его зовёт.

У них вообще вся семья интересная.

Отец на скрипке играет. Корова — Контрибуция называется. А дед (вы уже с ним знакомы) — охотник завзятый, на охоте, когда стреляет, левый глаз тряпочкой завязывает. Потому что у него левый глаз без правого не прищуривается. Как левый прищурит — правый сам закрывается. Но уж и бьёт дед Варавя с этой тряпочкой, ох же и бьёт!

Городские охотники, что на «Волгах» из Киева приезжают, только охают.

«Вы, дедушка, абсолютный чемпион», — говорят.

В честь старого Реня даже озеро, что возле нашего села, люди Реневым назвали.

Мать же Явы — депутат райсовета, звеньевая кукурузоводов.

Как-то Ява с Яришкой, сестричкой младшей, поссорился и при всех шлепков ей надавал. Но она вместо того чтобы заплакать, вдруг как закричит:

— Опозогил! — Она букву «р» не выговаривает. — Маму-депутата на всё село опозогил. Загаза чегтова!

Такого шороха наделала — Ява не знал, куда и глаза деть. Стоял-стоял, красный как рак, а потом как дал дёру — только пятки засверкали.

Но это только один раз было. А вообще характер у Явы ого-го! Сталь, а не характер. Таких на миллион лишь один рождается.

Ява сам говорил:

— Мы, — говорил, — с тобою, Павлуша, ребята незаурядные. Правда, без вранья, мы всё же ребята с фантазией. Скажи:

— С фантазией, поддакнул я.

— Ты слышал, как дед Салимон вчера у сельмага говорил: «Вон, — говорит, — Ява и Павлуша пошли. Вот мальчишки! Орлы! Соколы! Гангстеры, а не мальчишки! Нет на них арестанской».

— Слышал. Вправду.

— Нужно, чтобы все про нас говорили так. Нужно, чтобы слава о нас гремела на всю Васюковку, как радио на Первомайские праздники.

— Нужно, — согласился я.

И Ява всё время придумывал разные штуки-выкаблук ради нашей славы. Как-то раз мы с ним поймали в лесу сыча и выпустили в клубе во время лекции на тему «Воспитание детей в семье» Лектор упал с трибуны и вылил себе на голову графин воды.

А старые дедовы подштанники на телевизионную антенну над клубом, думаете, кто повесил? Мы, конечно.

А то как-то летом Ява сказал:

— Давай устроим бой быков.

— А? — не сразу понял я.

— Ты помнишь, мы в клубе заграничное кино смотрели «Тореадор»?

— Ага... Ну и что?

— Помнишь, на арене разъяренный бык, а дядька в шляпе, со шпагой, перед ним танцует.

— Да-да-да...

— А потом — рраз! Бык — брык! И аплодисменты.

— Ага. Классно... Но это же убивать надо. Кто же нам позволит убивать поголовье?

— Ну, дурной! Убивать! Что это тебе — мясозаготовка, что ли? Это же зрелище. Как на стадионе. Как футбол. Главное тут — красиво размахивать красной тряпкой и ловко уворачиваться, чтобы рогом не зацепило. Ты же видел. Тореадоры — это самые ловкие и смелые герои. Главное — тренировка и ловкость. Понимаешь? Впервые в истории Васюковки — бой быков. Тореадор Иван Рень и тореадор Павел Завгородний! Гости съезжаются со всей Украины. Трансляция по радио и по телевизору. Даже в Жмеринке видно будет.

Я улыбнулся. Это было классно. По радио, по телевизору и вообще...

Мы уселись поудобнее и начали обговаривать детали. Прежде всего — бык. Кандидатура колхозного бугая Петьки была отклонена сразу. Это такое страшное мурло, что его даже сам зоотехник Иван Свиридович боится.

Глаза — как тракторные фары. Землю гребет ногами, как экскаватор.

Этим летом один дачник чуть не умер от страха. Лежал на выгоне голый — загорал. Голова под зонтиком, всё остальное на солнце. И вдруг — Петька. Дачник как рванет. Бугай за ним. Дачник толстый, с брюшком. Видит — не убежит. А тут телеграфный столб на дороге. как этот дачник на столб вскарабкался — до сих пор не понятно. Но факт — полдня загорал на изоляторах, держась за провода, пока не подъехал комбайнер Коля на комбайне и не снял его. Дачник штаны надел и сразу на станцию: домой ехать.

Не, пусть с бугаем Петькой враги наши бьются.

Другой кандидатурой был козел Жора. Это я его кандидатуру выдвинул, чтобы отомстить. Очень мне противен был козел Жора, потому что съел мою рубашку, когда я купался.

Но Ява меня не поддержал.

— Нет, сказал он. — Жора очень болтливый. Всё время мекает. Мы и оваций не услышим. И речь идет о бое быков, а не козлов. Нужно что-то бычачье, коровье — большое и круторогое.

— Коровье? — говорю. — Слушай, а, может, взять просто корову? Потому, что кроме Петьки, настоящих быков у нас нет, а коров сколько хочешь. И вообще нигде не сказано, что обязательно должен быть бык.

Ява задумался:

— Кто знает, может, и так.

— Тогда, — говорю, — лучшей кандидатуры, чем ваша Контрибуция, и не придумаешь.

— А почему Контрибуция? Почему не ваша Манька?

— Потому что у нашей Маньки теленок и один рог сломан. Ты хочешь, чтобы над нами смеялись? Тореадоры с однорогой коровой! Карикатура. Такого еще никогда в мире не было.

— Можно, конечно, и Контрибуцию. Но она немного психическая.

— Что значит «психическая»? Скажи лучше, что ты просто мамы боишься.

— Я — боюсь? Вот я дам сейчас тебе в ухо, и ты увидишь, как я боюсь. А ну заberi свои слова назад!

— Я забираю, но ты всё равно боишься.

— Боюсь?

— Боишься...

— Боюсь?

— Боишься...

Я схватился рукой за ухо, в свою очередь, заехал Яве кулаком в

живот. Мы покатались по траве и выкатились на дорогу. Всю грязь, что была на дороге, мы, катаясь, собрали на свои штаны и рубашки. первым опомнился я.

— Стой, — говорю, — хватит. А то вместо боя быков у нас вышел бой дураков.

— Это же ты виноват. Ну, хорошо, попробуем Контрибуцию. Завтра погоним пастись и попробуем. Ведь твоя Манька и вправду для телевизора не подходит. Люди еще подумают, что это не корова, а собака.

Мне уже надоело драться, и я сделал вид, что не понял, как жестоко он оскорбил нашу Маньку.

Следующим утром мы встретились на дороге, что вела на выгон. Я гнал Маньку. — Ява — Контрибуцию. Коровы плелись, легкомысленно мотая хвостом, и не подозревали, какой это исторический день.

У Явы на голове была широкополая дамская шляпа, которая досталась нам в наследство от одной дачницы, которая отдыхала у нас в позапрошлом году. Шляпа Яве была велика и спадала на глаза. Что хоть что-нибудь видеть и не упасть, Ява всё время дергал головой, поправляя её. Казалось, что он кому-то кланяется.

У меня подмышкой был коврик. Это был знаменитый коврик. Я его помню столько, сколько вообще что-нибудь помню. Он висел над моей кроватью. Коврик был красный, и на нём вышиты три смешных щенка, которые сидели вместе, прижавшись головами. Это были Цуца, Гава и Рева, о которых мне мама рассказывала разные истории, пока я не засыпал. Последние два года, поскольку я уже вырос, коврик лежал в сундуке, и теперь от Цуцы, Гавы и Ревы очень воняло нафталином.

Коврик и шляпа — это был наш тореадорский инвентарь. По дороге мы еще вырезали из лещины две прекрасные шпаги. Мы были в полной боевой готовности.

Мы шли и пели арию Хозе из оперы Бизе «Кармен», которую много раз слышали по радио:

— Торе-адор, сме-е-лее в бой, торе-адор, торе-адор,
Там ждет тебя любовь, там ждет тебя любовь.

Мы пели и не знали, что нас ждет.

Небо было синее-синее — настоящее испанское небо.

Погода — самая подходящая для боя быков.

Мы погнали коров аж на самый край выгона, туда, где пруд —

подальше от людских глаз.

— Отгони свою Маньку в сторону, чтобы не мешала, — сказал Ява, — и давай начинать.

Я не стал спорить. Тем более, что Манька у нас очень нервная, ей лучше не видеть боя быков.

Ява поправил на голове шляпу, подтянул штаны, взял мой коврик и, пританцовывая, на цыпочках стал подходить к Контрибуции. Подошёл к самой морде и начал размахивать ковриком перед глазами. Я затаил дыхание — сейчас начнется...

Ява замахал ковриком еще сильнее. Контрибуция — ноль внимания! Спокойненько щиплет травку.

Ява мазнул ковриком по ноздрям. Контрибуция лишь отвернула морду. Ява раздраженно заверещал и изо всех сил хлестнул её ковриком. Контрибуция, лениво переступая ногами, повернулась к Яве хвостом.

Ява снова обежал корову и начал вытанцовывать...

Через полчаса он сказал:

— Она ко мне просто привыкла, она меня любит и поэтому не хочет... А ну давай ты!

Через час, запыхавшись, я сказал:

— Бревно какое-то, а не корова. Жалко, что у Маньки нет рога, я бы тебе показал, что такое настоящая тореадорская корова.

Ява снова сменил меня. Он то и дело менял тактику: то подходил к корове потихоньку и неожиданно бил ковриком, то подскакивал с разгона, то забегал сбоку. Контрибуция не принимала боя. Чубы у нас взмокли, коврик нервно подрагивал в руках, — казалось, что Цуца, Гава и Рева вот-вот загавкают. А Контрибуция — хоть бы что, не обращала внимания на на ну никакого внимания.

Один раз, когда Ява схватил Контрибуцию за ухо, она с укором глянула на него своими печальными глазами и сказала:

— Му-у!

В переводе с коровьего это, наверно, означало: «Идите, мальчики, отсюда. Не трогайте меня».

Но мы вовремя не поняли предупреждения.

Тяжело дыша, мы прыгали вокруг неё, вызывая на бой. Яве было стыдно передо мной за свою Контрибуцию — я это видел.

Наконец разозленный Ява крикнул:

— А ну ударь, а ну ударь её, Павлуша, хорошенько! Что — боишься?.. Ну тогда я сам.

Он размахнулся и стукнул Контрибуцию ногою по губе.

И вдруг... Вдруг я увидел Яву где-то высоко в небе. И оттуда, с неба, услышал его отчаянно пронзительный крик:

— Ой-ой!

Бежать он начал, по-моему, еще в небе. Потому что когда ноги его коснулись земли, он уже что духу мчался к пруду. Я рванул за ним. Это было нашим единственным спасением. Мы с разгону влетели в пруд, поднимая целые гейзеры воды и грязи. Остановились уже на середине. То, куда мы влетели, честно говоря, прудом назвать можно лишь условно. Когда-то и вправду тут был большой пруд-копанка. Но он давно пересох, заилился и превратился в обыкновенную лужу. В самом глубоком месте нам было по шею. Именно в этом месте мы сейчас и стояли, переводя дух.

Контрибуция была около лужи и мычала в наш адрес какие-то свои коровьи проклятья. В лужу она лезть не хотела. Она была брезгливая, чистоплотная корова. Мы это знали.

Мы стояли и молчали.

Дно лужи было вязкое, илистое. Мы по самый пуп стояли в противной, скользкой грязи. Только от пупа до шеи была вода — грязная, мутная и вонючая. Настоящие помои. Долго мы стояли с Явою в этих помоях. Полчаса, не меньше. До тех пор пока Контрибуция не успокоилась и не отошла. Она же была очень гуманная и благородная корова, это Контрибуция. Потому что она подкинула тореадора Яву не рогами, а просто мордою. И когда мы наконец вылезли из лужи, несчастные и грязные, как поросята (не мы, а сама — грязь), она и словом не напомнила нам нашего к ней [отношения?], Мы остались с ней друзьями. Ява после этого не только никогда её больше не ударил, а всегда угощал конфетами, которые давала ему мать.

И теперь, когда мы мы, сокрушенно вздыхали, засыпаем наше неудавшееся метро, Контрибуция выглядывает из коровника и сочувственно смотрит на нас. И нам даже кажется, что на глазах у неё слёзы. Дорогая Контрибуция! Какое у тебя большое и нежное сердце! Ты единственная понимаешь и жалеешь нас. Благодарим тебя, корова!

— Еще не закончили, черти болотные? — так неожиданно громыхнул сзади дед Варава, что мы даже присели. Мы утратили бдительность и услышали, что у нас за спиной делается. Попались всё-таки.

Впереди стенка свинарника, по сторонам густой бурьян, сзади дед Варава. Бежать некуда. Так мы и застыли, присев, как цыплята перед коршуном.

— Не бойтесь, не трону!

Эти слова выпрямили нас, разогнули нам ноги. И словно

велосипедным насосом кто-то качнул — это мы вздохнули. И дрожащие губы наши сами собою растянулись в противную льстивую улыбку. Но дед на улыбку нашу не ответил. Не любил дед таких улыбок. Суровым был дед Варава.

Лицо у него было серое и пятнистое, как прошлогодние листья. Губы тонкие и так сжаты, словно во рту вода. Глаза без ресниц, круглые и неподвижные, как у петуха. Из-за этих глаз казалось будто дед навек чем-то удивлен. Но это лишь казалось. Наверно, не было в мире уже ничего, что могло бы удивить деда Вараву. Восемьдесят третий год ему пошел.

— Кончайте, шминдрики, и идите учить уроки, экзамен на носу.

Мы поморщились. Мы это знали. Но нам не хотелось думать об этом. И кто выдумал эти экзамены! Да еще весной, когда воздух пахнет футболом и «чижиком», когда птицы галдят, как бабы на базаре, и когда так солнечно и тепло, что мы с Явою уже трижды купались. Как хорошо было еще в том году в четвертом классе! Никаких тебе экзаменов. Лучше было бы и не переходить в пятый. Никогда в жизни мы с Явой еще не сдавали экзаменов. Это было впервые. И хотя мы ершимся и говорим: «Наплевать!», но у каждого из нас при напоминании об экзаменах ёкает в животе. Лучше двадцать «метро» засыпать, чем один экзамен.

— Кажется, дедушка, всё. Так. как и было Правда же? — неуверенно спрашивает Ява, притаптывая ногами свежую землю.

Дед косо смотрит на нашу работу — видно, что он не доволен. Но говорит:

— Идите, идите уже. Но знайте, что еще раз что-нибудь такое — уши пообрываю и свиньям выкину.

Прижимаясь спинами к бурьяну, мы боком идем мимо дед и, только его обходим, изо всех сил бежим.

И очень вовремя: еще миг и — жесткая дедова рука с размаху впечаталась бы в наши штаны...

Я живу по соседству с Явою. И через минуту мы уже переводим дух в нашем саду.

Мы сиди в картошке под вишнею. Сидим и горюем, что такая досадная неудача постигла нас с этим «метро». Но долго горевать мы не умеем.

— Слушай, — вдруг говорит Ява, — а давай сделаем... подводную лодку.

— Давай, — не задумываясь говорю я. И только потом спрашиваю: А из чего?

— Из старой плоскодонки. Той, что возле вербы... полузатоплена.

— А как?

— Воду вычерпать, дырки позатыкать, просмолить, верх забить досками. Вот тут перископ. Вот тут люк. На дно балласт.

— А двигатель?

— На веслах будет. Нам же не нужно, чтобы очень быстроходная. Лишь бы подводная.

— А дышать.

— Через перископ.

— А на поверхность как всплывать.

— Балласт выкинем и всплывем.

— А как водой зальет и затопит?

— Ты что — плавать не умеешь? Вот еще! «Как? Как?». Фиг с маслом с тобой сделаешь!

— Сам ты фиг с маслом! какой умный!

— Да ну тебя, — сказал Ява уже примирительно. А я совсем ничего не ответил — сегодня ругаться не хотелось.

Мы проходили мимо старого скособоченного колодца с журавлём, из которого уже давно воду не брали — так заилился. Я перегнулся и громко крикнул в душную, пропахшую плесенью и болотом темноту: «О!» Я люблю кричать в колодец: такое «о» нигде не услышишь, как в колодце. Красота, а не «о». Вот и сейчас.

— О!

— О!

— О!

Только эхо раздается — словно аж до центра земли.

И вдруг в эти крики влилось жалобное тонкое скуление. Я наострил уши.

— Ява! — говорю. — Там кто-то есть.

— Врешь!

— А ну крикни и послушай.

Я перегнулся через край колодца и крикнул. Мы прислушались. И отчетливо услышали из глубины плаксивое щенячье скуление.

Мы переглянулись.

— Какая-то свинья бросила туда щенка, — сказал Ява.

— Точно, сказал я.

— Ну что? — спросил Ява.

— Нужно вытащить, — сказал я. Хоть мог это этого и не говорить. Потому что он таким тоном сказал, в котором уже был ответ.

— Значит так, — сказал Ява. — Я сажусь в ведро и спускаюсь. А ты

меня держишь.

— За что? Разве я тебя так удержу?

— Ты и вправду слабак. Не удержишь.

— Значит, я спускаюсь, а ты меня держишь, если ты такой могучий.

— Нет, спускаться буду я. Я первый сказал. И... и у тебя была ангина неделю назад. Тебе нельзя в колодец. И вообще у тебя носоглотка... Мы знаешь что, веревку привяжем вон к тому бруссу-противовесу. И ты вытянешь. Очень удобно.

— А где взять веревку?

— Да вон она.

— Да на ней же коза! Вместе с козой привяжем что ли?

— Коза так погуляет, никуда не денется.

— Ну что же — давай!

— Мме-е-е! — радостно запела отвязанная коза и немедленно побежала проказничать. Но нам некогда было её воспитывать.

Ява сел в ведро, я взялся за веревку, привязанную к бруссу-противовесу на коротком плече журавля.

— Опускай! Опускай понемногу! — скомандовал Ява.

Операция началась.

Спуск прошел нормально. Мне было совсем не тяжело опускать веревку, и уже через полминуты послышалось глухое, как из бочки, явино: «Стоп! Хорош!»

Я бросился к срубам:

— Аллё! Колодценавт Ява? Как себя чувствуете?

— Отлично! Пульс нормальный. Невесомости нет. Давление триста атмосфер. принял на борт потерпевшего товарища Собакевича. Ой-ой-йой! Что же ты отпустил! Тут такая грязь! Засасывает! Тяни быстрее!

Я ойкнул и бросился назад к веревке. Вцепился двумя руками и начал тянуть.

Ого-го! Ох! Эх! Ух! Ну и тяжело! Тяну, даже приседаю. Изо всех сил, всей тяжестью своего тела тяну за веревку вниз. И вдруг чувствую, что ноги мои отрываются от земли. Ой, мамочка! Это же я сейчас поднимусь и повисну над землей, как жаба на крючке, только ногами дрыгать буду. перевешивают меня Ява со щенком. Ой-ой-йой!

— Ява! — кричу в отчаяние. — Ява! Хватайся за сруб, помогай, а то я в небо взлетаю!

Понял, видно, Ява ситуацию, послушал меня, потому что пятки мои снова коснулись земли. А тут я еще и ногой зацепился за корень, который как раз возле меня из земли высывался. Закряхтел я изо всех сил — вот-

вот жилы, как струны, со звоном полопаются, — и из колодца, словно пузырь из носа, медленно появились явина голова.

Первым на землю ступил «товарищ Собакевич» — кудлатый, вислоухий рыжий щенок, а потом уже Ява.

Я сразу увидел, что щенок — не из нашего конца села. У себя мы всех собак до одной знали — от Гривка, здоровенной овчарки деда Салимона до позавчера рожденных, еще слепых щенят Жучки бабы Маланьи.

— Вот хотел бы я знать, кто его туда кинул, — сердито проскрипел Ява. — Ноги бы повывдёргивал!

— Какой-то фашист хотел избавиться, — сказал я. Щенок, наклонив голову набок, посмотрел сперва на Яву, потом, наклонив голову в другую сторону, посмотрел на меня и завилял хвостиком, очевидно, благодаря за спасение. Знакомство состоялось. Мы сразу понравились друг другу.

— Айда на речку! — сказал Ява. — Надо помыть Собакевича — видишь, какой!

То, что он Собакевич, а не Шарик, Полкан или Жучка, уже не вызывало никакого сомнения. Имя, в шутку данное ему Явой в вонючей темноте колодца, пристало к нему сразу и навсегда.

Мы побежали на речку.

Подводная лодка из плоскодонки навечно потонула в забвении...

Глава вторая

«Вермахт!.. Двадцать железных!..»

— Рень и Завгородний! Выйдите из класса! Скоро вы корову на урок приведете! Нарушители дисциплины! Нарушаете мне учебный процесс! Я на вас директору жаловаться буду! — Галина Сидоровна вся аж кипела (казалось, что у неё даже пар изо рта идет).

Мы покорно поплелись за двери.

В коридоре Ява расстегнул рубашку, наклонился, и Собакевич выскочил у него из-за пазухи на пол и завилял хвостом, словно ничего не случилось.

— Тоже мне еще! — укоряюще сказал ему Ява. — Не мог помолчать. Не тебя же спрашивали, а Павлушу. Чего выскочил, как заяц из кустов.

Собакевич виновато наклонил голову набок. Наверно, он понял, что подвёл нас.

Галина Сидоровна спросила меня урок. Я встал, вспоминая, знаю я его или нет. И по привычке пихнул Яву — подсказывай, давай. И тут Собакевич, что сидел у Явы за пазухой, высунул голову в расстегнутый воротник и на весь класс: «Гав!». В классе — хохот.

И Галина Сидоровна, конечно, обиделась — кому приятно, чтобы на него гавкали? Она очень суровая и очень любит нас воспитывать.

— Ничего, переживем, — сказал Ява. — Не могли же мы его оставить без надзора. Чтобы снова кто-то в колодец бросил.

Уже выходя на двор, я увидел на табурете возле дверей школьный колокольчик. Бабы Маруси, что руководила звонком, звоня нам с уроков и на уроки, не было видно. Решение пришло молниеносно. Я воровато оглянулся — цап! — и звонок уже у меня под рубашкой.

— Пусть учатся, если такие умные! — подмигнул Яве. — Не нужны им перемены. Обойдутся.

— Молодчина! — похвалил меня Ява. И словно кто-то кружку теплого молока вылили за пазуху — это радость теплом разлилась в груди: не часто меня Ява хвалит.

Мы — быстро-быстро — и в кусты сирени за школой. В самую гущу забрались, под самую стену сарая. Темно тут, тихо — надежное место.

— Пусть теперь поищут! Вот паника будет! Не кончатся сегодня уроки. До завтра учатся будут! Хи-хи! Без звонка они как без рук. В учебном процессе звонок — основная вещь, — сказал я, вынимая из-под

рубашки школьный колокольчик.

— Это ты хорошо придумал! Молоточек! — сказал Ява и взял у меня из рук звонок (я чувствовал, что ему было немного обидно, что это не он придумал, — он привык всё сам придумывать).

— Знаешь что! — встрепенулся он вдруг. — Мы его Собакевичу на шею повесим. А?

— Классно! — сказал я. Хотя и не понял, зачем это нужно. Но я был бы последней свиньей, если бы не сказал, что это классно (он же меня хвалил!).

— У тебя нет никакой веревочки? — спросил Ява.

Я поискал в карманах:

— Нет.

— Вот чёрт! И у меня нет. Слушай, а давай ремень.

— Да... А штаны?

— Так не на совсем. Рукой поддержишь. Если бы у меня были на ремне, а не на шлейке, я бы разве...

Поскольку я был сегодня «молоток», то отказываться просто не имел права. Вздохнув, я снял ремень, и Ява ловко начал прилаживать звонок Собакевичу на шею.

— Классно! Вот классно мы придумали! — повторял он.

И вдруг... Вдруг за стеной сарая мы услышали такое, что мигом заставило нас забыть о звонке, о Собакевиче и обо всём на свете. Сарай этот был уже не школьный. Просто он задней стеной выходит в школьный сад, в эти заросли сирени.

Сарай принадлежал дядьке Бурмиле, заядлому рыбаку, что жил одиноко и почти всё время пропадал в плавнях на рыбалке. Мы прилипли к стенке сарая, прижавшись ушами к шероховатым не струганным доскам. Разговаривали Бурмило и Кныш, колхозный шофер, который жил по соседству с Явою.

Вот что мы услышали (до нас долетали обрывки разговора):

Бурмило: Ги-ги!

Кныш:...Вермахт щедрый...

Бурмило: А что же, конечно...

Кныш: Должно быть двадцать зеленых... Точно... А качество... Бронебойная... Р-раз и нету... Будем!

Слышен звон стаканов, наверно, Кныш и Бурмило выпивают.

Кныш: Купим в Киеве, что нужно и за дело!

Бурмило: Сам не можешь?

Кныш: Если бы у меня было время, и если бы плавал так, как ты, я бы

вообще без тебя обошелся.

Бурмило что-то пробормотал, мы не разобрали ни слова.

Кныш (раздраженно): А... крест-накрест. Нужно ловить момент, а ты!.. Это же удача, что меня посылают с этой школьной экскурсией...

Бурмило: Ну, хорошо! Завербовал.

Кныш: Только никому-никому! Ни одной живой душе. А то если узнают...

Бурмило: Чтобы я света белого не видел. Что я — маленький! Это же такое дело...

Кныш: Ну, до завтра!

И всё. Наступила тишина. Наверно, Кныш и Бурмило вышли из сарая. Мы переглянулись.

Не знаю какие глаза были у меня. Но явины глаза горели и светились, как у борзой собаки. А что! Хотел бы я посмотреть на ваши глаза, если бы вы услышали такой разговор.

— А? — раскрыл рот я.

— А? — раскрыл рот Ява.

Но ничего больше произнести мы не успели. Потому что в это время послышался залиvistый голос школьного колокольчика. Мы и так и замерли с раскрытыми ртами. Увлечшись таинственным разговором, мы совсем не заметили, что Собакевич куда-то исчез. и вот... На четвереньках, по-собачьи, мы быстро продрались сквозь гущу и выставили из кустов головы.

Под окнами школы, гоняясь за курицей, носился по двору Собакевич. Болтаясь у него на шее, звонок заливался звонок. Думая, что уже перемена, горохом высыпались из классов ученики. Из окон, удивленно глядя на часы, выглядывали учителя. На крыльце появилась Галина Сидоровна.

— Хулиганство! Безобразия! Нарушение учебного процесса! — закричала она.

Из-за угла выбежала баба Маруся. Увидев Собакевича, ударила руками по коленям, кинулась за ним — отбирать звонок. Собакевич — наутёк. И куда же вы думаете — к нам, в кусты.

Мы с Явою вмиг развернулись и так же на четвереньках помчались назад, в гущу, к сараю. Причем, если Ява полз нормально, то я — на трех, как собака с перебитой лапой, — мне же приходилось одной рукою поддерживать штаны.

Мы прижались к стене сарая — дальше бежать было некуда. Звонок всё ближе, и вот уже Собакевич с разгона ткнулся носом Яве в щеку. Что же, он не виноват — у кого же ему искать защиту, как не у нас — своих

друзей и спасителей. Через мгновение кусты над нами раздвинулись и мы увидели покрасневшую бабу Марусю.

— Ага! — победно выкрикнула она. — Вот кто это всё устроил!

Из-за головы бабы Маруси появилась голова Галины Сидоровны. Ледяным голосом Галина Сидоровна говорит, как секачем рубит.

— Так!.. Ясно!.. На экскурсию в Киев завтра они не едут!

Глава 3

Приключения в Киеве. Наши подозрения растут. Старшина Паляничко

У школы шум и суета. Во дворе стоит грузовик, украшенный цветами и сосновыми лапами, словно свадебный поезд. На машине у кабины уже сидят самые нетерпеливые ученики. Среди них, как огородное пугало, торчит долговязый нескладный Бурмило. Расставляют последние стулья. Школьники выстроились цепочкой от крыльца до машины и передают друг другу стулья, которые выносит на крыльцо Галина Сидоровна. Все оживлены и радостны. Еще бы — эту экскурсию в Киев так долго ждали. Всё время все смеются, даже когда для этого нет причины. Все, кроме нас: меня и Явы.

Мы стоим возле крыльца понурые, насупленные. И как только из дверей появляется с новым стулом Галина Сидоровна, мы тут же раскрываем рты и начинаем:

— Мы не хотели... Мы не нарочно, — гундосит Ява.

— Мы больше не будем... Честное слово, — гундошу я.

Галина Сидоровна сначала не обращает внимания, молча исчезает в дверях, словно не слышит. Потом наконец говорит:

— Было бы даже непедagogично, если бы я вас взяла.

И мы чувствуем — ей уже жаль нас (она же добрая, только напускает на себя). Надо ковать, пока горячо.

— Педагогично! — воскликнул я. — Мы же сказали, что больше не будем.

— Ну да, педагогично! — подхватывает Ява. — Даже очень педагогично! Макаренко обязательно бы взял. Точно!

Галина Сидоровна сразу нахмуривает брови и холодно говорит:

— Нет.

И мы понимаем: теперь уже всё. Переборщили. Учителя не любят, чтобы их учили.

Я с тревогою поглядываю на Бурмилу и на Кныша, который прохаживается возле машины, время от время стуча сапогом по колесу (проверяя шины). «Неужели мы останемся и так и не узнаем, что они будут делать в Киеве?» — думаю я.

И в голове моей снова звучат загадочные таинственные слова: «Зато

подарочек будет от немцев... Вермахт щедрый... Двадцать железных... Качество броневой... Раз — и нету!.. Только никому-никому!».

Вдруг Ява дергает меня за рукав: «Айда! Быстрее!» — и бросается к машине. Я — за ним. Нужно успеть спрятаться под стульями, пока Галина Сидоровна в помещении.

Конечно, все видят это и могут выдать, но это уже на их совести.

Шасть! словно ящерицы, юркнули мы под стулья к самой кабине и притаились.

Через некоторое время услышали голос Галины Сидоровны:

— Что, ушли? Ну и хорошо, что сами наконец поняли. Это будет наука всем, кто любит срывать уроки и нарушать дисциплину. Ну, поехали.

Ученики, что еще были не на машине, с криками начали посадку. И вскоре мотор заурчал, машина поехала. Нас никто не выдал. Есть таки у людей совесть.

Если вы хотите почувствовать все свое тело сразу, с ног до головы, как он реагирует на удары, то попробуйте поехать по ухабистой дороге на грузовой машине, лежа в кузове под стульями. Сравнить это нельзя ни с чем. Такое чувствует разве что «язычок» в школьном колокольчике, когда баба Маруся звонит на перемену или урок.

«Раз — и нету!.. Качество броневой!.. Вермахт щедрый!» — билось в моей голове в такт с ударами.

Затылком о стул — лбом о дно кузова...

Затылком о стул — лбом о дно кузова...

«Раз — и нету!..

Качество броневой!

Вермахт щедрый!..».

И всё-таки чем больше нас молотило, чем больше швыряло вверх-вниз и из стороны в сторону, тем легче становилось у нас на душе — потому что всё дальше мы отъезжали от села. А значит, тем меньше шансов, что нас найдут и посадят с машины. Мы лишь сжимали губы, стараясь не ойкать. Но вот беспутница прекратилась и весело заурчал мотор, набирая скорость, — мы выехали на асфальтовое шоссе (это в 3 километрах от села). И сразу, словно заведясь от стартера, зазвенела песня.

Знов зозулі голос чути в лісі,
Ластівки гніздечко звили в стрісі,
А вівчар жене отару плаєм,
Тьохнув пісню соловей за гаєм.

(Снова голос кукушки слышен в лесу
Ласточки гнездышко свили под стрехой
Овчар гонит отару тропой
Поёт песню соловей за лесом).

Еще бы! Ну где вы видели, чтобы люди ехали компанией на машине и не пели? Так не бывает. Когда от скорости ветер свистит в ушах, когда дорога с шуршанием наматывается на колеса и встречные машины мимо только — Ух! Ух! Ух! — песня сама вырывается из груди.

В хоре выделялся звонкий, соловьиный голос Галины Сидоровны. Мы представляли себе, как она стоит, опершись на кабину, лицом к ученикам, и дирижирует. И ветер треплет её черные, как вороново крыло, локоны, а она белозубо улыбается и поёт. А девчонки в восхищении смотрят на неё, потому что считают что она очень красивая, «ну просто красавица»...

Всюду буйно квітне черемшина,
Мов до щлюбу вбралась калина...

(Всюду буйно цветет черемуха
Словно под венец собралась калина...)

Разве вытерпишь, когда все поют. И мы с Явою («А, всё равно не услышат в таком хоре!») затаили во всё горло:

Вівчаря в садочку,
В тихому куточку
Жде дівчина, жде.

(Овчара в садочке,
В тихом уголочке
Ждет девушка, ждет).

Эх, хорошо! Если поёшь в хоре, то кажется, будто только благодаря тебе так хорошо и слаженно выходит.

И вдруг... Мы так увлеклись, что даже не заметили того момента, когда все вдруг перестали петь. Как потом выяснилось, в этот момент

машина проезжала под вербой, свесившей свои ветви над шоссе. Все в кузове нагнулись, и песня прервалась. А мы же были под стульями и не знали этого... И продолжали тянуть, как два барана:

Жде-е-е дівчина, жде-е-е...

(жде-е-ет девушка, жде-е-ет...)

И сердитое учительское: «А ну, вылезайте!» — было для нас как гром среди ясного неба.

Взъерошенные и помятые, вылезли мы из-под стульев.

— Эх, вы! — презрительно сказала Галина Сидоровна. — Я думала, что вы хоть благородные мальчики. А вы «зайцами», обманув меня... Как... шпионы какие-то. Фу!

Я увидел, как дернулся, даже подскочил Ява. Да и у меня всё внутри перевернулось вверх тормашками. Нас! Нас назвать шпионами! Нас, которые... Эх!

— Да, нехорошо, ученики. Обманывать нельзя, — сказал Бурмило.

«Подарочек от немцев... Качество бронейное!..»

Мы с Явою так взглянули на него, что если бы взглядом можно было сжечь человека, то от Бурмилы осталось бы только горстка пепла.

— Вас надо было бы немедленно отвезти домой или же высадить прямо тут, в поле, — сказала Галина Сидоровна. — Я не сделаю этого только потому что проехали уже тридцать километров и не имеем права задерживаться. Вы поедете с нами. Но знайте — весь коллектив презирает и осуждает вас за недостойное поведение.

Мы подняли глаза — коллектив смотрел на нас весело и улыбался. У коллектива было хорошее настроение.

Коллектив хотел петь.

Мы опустили головы и сказали:

— Мы больше не будем...

Коллектив подвинулся, и мы сели. И сразу, как по команде, в небо снова взлетела песня:

Йшла вона в садок повз осокори-и,
Задивилась на високі гори-и...

(Шла она в сад мимо осоко́ря

Засмотрелась на высокие горы-ы...)

Мы с Явой пытались перекричать всех — так старались.

Долго мы ехали — все песни, какие знали, пропели по несколько раз. Дважды останавливались поесть.

Но вот наконец длинный мост через широченный Днепр. А на той стороне — высокий берег, и колокольня на горе блестит золотым куполом, а рядом еще еще золотые купола теснятся — Лавра, а за нею торчит огромная телевизионная башня, и возвышаются, налезая друг на друга, дома — большие, многоэтажные... Киев! Приехали.

Красивый город Киев! Красивее Пирятина, Крыжополя, Жмеринки — всех городов, которые я видел.

Столица!

— Вот, так, — говорит Галина Сидоровна. — Машину мы оставляем у Дворца пионеров и сразу на метро. Согласны?

— Ура-а-а! — закричали все. Всю последнюю четверть в нашем пятом «Б» только и разговоров было что про метро. Почему-то из всех киевских чудес нас больше всего интересовало метро.

И теперь все сразу возбужденно загомонили: «„метро“, „метро“, „на метро“...»

Все, кроме меня Явы. Мы озабоченно переглядывались. Ведь нам же нужно было обязательно проследить, что будут покупать в Киеве Кныш и Бурмило. Ради этого мы были готовы на любые жертвы. Но... неужели мы из-за них не увидим метро?

Но когда мы подъехали к Дворцу пионеров, слезли с машины и Галина Сидоровна закудаhtала, собирая нас вокруг себя: «Смотрите, чтобы никто не остался, чтобы никто не потерялся!» — Кныш, подойдя к ней, сказал:

— Мы тоже с вами в метро. На Крещатик хотим съездить. Товара купить кое-кого...

Я пихнул Яву локтем в бок — порядок!

Гусиной стайкой побрели мы по улице.

И вот — метро. Ну, я вам скажу, это шту-у-ка! Сказка! Научная фантастика!

Голубые поезда мчатся в туннеле быстрее ветра. В подземных залах светлее, чем днем на выгоне. Каждая станция как театр.

Но самое главное — эскалаторы, эти чудесные лестницы. А кстати, разве правильно говорить — лестницы. Обычная лестница стоит, а ты по ней движешься. А тут наоборот — ты стоишь, а лестница движется.

Мы с Явою как ступили на эскалатор, так и замерли от восхищения. Вот это да! Поднимешься по лестнице вверх, опускаешься вниз и не одной ногой даже не двинешь. Даже можешь одну ногу поднять или сесть даже можешь — и все равно движешься.

Нам бы такую лестницу на чердак, где мама сухофрукты хранит. Или на ту гору, с которой зимой на санках катаемся. Прекрасная штука эскалатор!

Вот если бы всегда можно было следить за разными подозрительными шпионами в метро на эскалаторе! Очень удобно и приятно! Стоишь себе и только — зырк! — искоса. И никуда он, голубчик, не денется от тебя, никуда в сторону не шмыгнет, потому что внизу сидит тетенька и смотрит, и всё время говорит по радио: «Уважаемые пассажиры! Бежать по эскалатору не разрешается! Садиться не разрешается! Ставить вещи не разрешается!..»

Доехали мы прекрасно донизу, сели в голубой поезд.

«Следующая станция — „Крещатик“!» — пробурчал кто-то по радио. Двери — клац.

Поехали. Смотрим, Кныш и Бурмило возле дверей жмутся. Мы — к дверям, только к другим (для конспирации) Не успели опомниться — стоп! Двери раскрылись — станция «Крещатик». Мы в двери — шмыг! Двери за нами — клац! И все наши только мелькнули в окне. Никто и заметить не успел, как мы выскочили. Там это всё на остановках делается молниеносно — не то что в поезде или на пароходе.

И вот мы уже следом, прячась среди людей, за Кнышем и Бурмилой. Выскочили они из метро на Крещатике, перешли на другую сторону, нырнули в подземный переход, вышли из перехода и прямо в магазин «Динамо». Мы — за ними. Спрятались, за здоровенный, аж до самого потолка, сноп бамбуковых удочек, притаились, смотрим.

Подошли Кныш и Бурмило к прилавку. Топчутся нерешительно. Бурмило склонил голову и одним глазом, как ворона на косточку, глядит на полку.

— Давай, — подталкивает Кныш локтем Бурмило.

— Ты давай, — дергает плечом Бурмило.

— Нет — ты! Для тебя же покупаем, — настаивает Кныш.

— Вот, ей-богу! Какая разница! — снова пожал плечами Бурмило, хекнул, а потом обратился к продавщице, ткнув пальцем в какую-то полку: — Дайте мне, пожалуйста, вот то вот.

— Что? — не поняла продавщица.

Бурмило оглянулся нервно, как школьник, что впервые покупает

сигареты:

— Да вот это вот... ну... с жабьими ногами.

— А-а! Для подводного плавания, — улыбнулась продавщица.

Бурмило мотнул головой и поморщился досадливо (словно продавщица выдала его).

Продавщица взяла с полки ласты и маску с трубкой, подала Бурмило.

У нас с Явой глаза стали(сделались) как колеса. Ты смотри!

Пока Бурмило примерял маску, щупал ласты, Кныш уже выбивал в кассе чек.

— Заверните!

И снова, воровато оглядываясь, словно они не купили, а украли эти причиндалы для подводного плавания, Кныш и Бурмило вышли из магазина.

Видя, что они так осторожно ведут себе, мы решили не сразу идти за ними, и немного посидеть за удилицами. Нечаянно навалились мы на снап, тонкая веревочка, которой он был связан, порвалась и... Будто бомба разорвалась в магазине. Удилища с треском разлетелись во все стороны. Крики, ойкание, паника. Мы бросились прочь.

— Держите! Ловите! Хулиганы! — зазвучало нам вслед.

Хорошо, что на Крещатике людей — как на стадионе во время футбольного матча. Мы — раз-раз! — между ними. Потом меня Ява за рукав — дёрг:

— Тссс-с! Не беги! Будто мы — это не мы!

Правильно. Когда за тобой бегут, бежать — последнее дело. Всегда надо спокойно идти. Тогда тебя еще и спросят: «Не видел, тут такой не пробегал?». И ты спокойно можешь сказать: «Видел. Вот туда побежал».

Неторопливо пройдя Крещатиком, мы шмыгнули в метро.

Мы почему-то были уверены, что Кныш и Бурмило обязательно пошли в метро.

По эскалатору мы уже бежали, не обращая внимания на призывы радиотёти. Выскочили на станцию: зырк-зырк!

— Вон! — выкрикнул Ява. И правда — в дверях вагона мелькну вельветовый бурмилов «пинджак». Мы едва успели вскочить в соседние двери того же вагона. На крайнем диванчике было свободное место и лежала брошенная кем-то мятая газета. Мы схватили её, разорвали пополам, сели и каждый, прикрываясь газетой (как бы читая), начали поглядывать одним глазом, следя за Бурмилой. Но у дверей, где тот стоял, людей было много, и мы видели только его вельветовое плечо. «А где же Кныш, почему не видно? — подумал я. — Неужели разделились, чтобы

труднее было следить? В шпионских книжках и фильмах всегда так делают».

Вдруг в вагоне стало светло — поезд вырвался из-под земли на поверхность. Станция «Днепр».

Выскочили мы, прикрываясь газетами, следом за Бурмило на перрон. И глядь! А что ты был здоровый! Вельветовый «пинджак» обернулся — никакой это был не Бурмило, а какой-то неизвестный дядька вот с таким носом. Тьфу!

— Упустили! — разочаровано сказал Ява. Стали мы на мосту у перил, не знаем, что делать. Встали мы на мосту у перил, не знаем, что делать. Стрелой промчалось метро через речку аж до самого горизонта, где тоненькой полоской лес чернеет. Мчат по мосту-красавцу голубые экспрессы, легковые машины, грузовики, автобусы... А под мостом по Днепру «Метеоры», «Ракеты» на подводных крыльях летят, едва касаясь воды. А по сторонам моста здоровенные фигуры — дядька руками взмахнул, спутник в небо запускает, и тетка — голубей подкидывает. Пейзаж — прямо тебе из научно-фантастического фильма. Красота!

— Может, они этот мост хотят на воздух поднять, а мы... — сказал Ява.

— Ну да?! — недоверчиво воскликнул я.

— А что же! Кино «Акваланги на дне» помнишь?

Еще бы! Несколько дней назад видели. Вот такое шпионское кино! После него мне целую ночь шпионы в аквалангах под водой снились. Мама говорила, что я даже булькал во сне. И всё же..

— Да нет, — сказал я, — навряд ли.

— А зачем бы бы они акваланги купили? Тоже еще спортсмены нашлись!

Тут я ничего сказать не мог. Правда с этим аквалангом было связано явно что-то таинственное. Ну для чего бы, скажите, пожалуйста, сдался акваланг немолодым сельским дядькам, которые даже зарядки сроду не делали?

Да еще и как они покупали его! Будто что-то запрещенное, опасное.

— И что же такое это двадцать железных... о которых они говорили? «Качество броневой...» — задумчиво сказал Ява. Я пожал плечами.

— Оружие?.. Взрывчатка?.. — прищурившись посмотрел на меня Ява. — И какая тут связь — акваланг... двадцать железных.

И вдруг — будто молния вспыхнула в мозгу.

— Подожди! — говорю, а у самого аж мороз по коже. — Папа когда-то читал в журнале. Рассказывал... Где-то в Чехии в одном озере, Черном, что

ли, шпионы ныряли в аквалангах. Пытались поднять со дна, чтобы тайно вывезти, двадцать железных ящиков. Это был архив гестапо, который фашисты затопили, отступая. Очень важные документы... Списки военных преступников. И в Австрии такая же самая петрушка была, тоже в озере, и тоже шпионы с аквалангами.

— Точно! Это оно! Ух ты-ы! — загорелся Ява. — Ну да, «двадцать железных», и «вермахт», и акваланг, и...

Он не договорил, потому что в это время из репродуктора громко, на всю станцию, зазвучало:

— Ученики из села Васюковка, что приехали в Киев на экскурсию, Рень и Завгородний, вас ожидают на выходе со станции «Днепр»!

Нас словно кто-то тяжелым чем-то сверху тюкнул, даже ноги подкосились. Так это было неожиданно. Нам показалось, что все эти сотни людей на станции и внизу на набережной толпятся, все сразу на нас посмотрели.

И мы сразу сделались маленькие-маленькие и словно голые. Впервые в жизни наши фамилии назвали по радио.

— Не бойся, — опомнился наконец Ява. — Это, наверно, Галина Сидоровна. Разыскивает нас. Айда!

Мы засеменяли к выходу. Зырк-зырк: ни Галины Сидоровны, ни наших — и духа нет. А стоит огромный усатый милиционер. Увидел нас и сразу:

— Стоп! — поднял руку. — Из Васюковки? Рень и Завгородний? Вас мне и нужно. Пошли.

Вот тебе и «не бойся»! Попались! За хулиганское наше поведение в «Динамо», за удилица проклятые!

Мои ноги примерзли к земле и какими-то ватными сделались — вот-вот на пол сяду.

— Ну пошли, что же вы, — обернулся милиционер. — На руках мне вас нести, что ли?

Я с трудом сдвинулся с места.

Вышли мы из метро, смотрим — стоит синяя машина с желтой полосой на боку, и на этой полосе написано «Милиция». И ведет нас милиционер к машине. Открыл дверцы, сказал: «Садитесь», а сам — возле шофера. Снял трубку(радиотелефонную) и говорит:

— Товарищ лейтенант! Докладывает старшина Паляничко. Мальчишек нашел. Везу на оперативной машине куда надо.

Мы так и обомлели. Ну всё! «Куда надо». То есть в тюрьму везет. Пропали мы.

Нам бы сейчас плакать, говорить: «Мы больше не будем, отпустите», а мы — ни слова. Гордые мы.

Друг к другу прижались, едем и сквозь зарешеченное оконце на Киев в последний раз смотрим. Украсился Киев флагами и праздничными транспарантами. Первой же послезавтра. Везде люди веселые, улыбающиеся, свободные. А мы... в тюрьму едим. А настоящие шпионы на воле ходят. И так нам обидно стало — хоть плачь.

— Эх, вы! — не выдержал Ява. — Не тех вы взяли, кого надо.

— То есть? — обернулся старшина.

— Вот вам и «то есть»! — надул губы Ява. — Может, мы за настоящими шпионами следили...

— Ну?! — левая бровь старшины выгнулась в знак вопроса.

— Вот вам и «Ну». Может, они только что акваланги... купили... для подводного плавания.

— Ого!

— Вот вам и «ого»! Может, они гестаповский архив со дна поднимать будут.

— Ясно! «Акваланги на дне»? Видел. А кто они, шпионы ваши? Откуда взялись? Из-за океана?

— Из нашего села.

— Ага, местные то есть. Колхозники. Как фамилии?

Ява растерянно глянул на меня. Он уже жалел, что начал этот разговор. Милиционер говорил насмешливо, видно, не верил ни одному слову.

— Как же фамилии шпионов ваших? А? — улыбаясь, повторил старшина. — Или, может, это сам председатель колхоза? Или директор школы? Или колхозный сторож яблони трясти не позволяет? А? Что молчите.

Вдруг машина остановилась.

— Ну, приехали. Вылезайте, шерлоки холмсы, — сказал старшина Паляничко.

Вылезли мы. Тюрьму глазами ищем. Что-то не видно. Справа — церковь, а прямо — большой серый дом с колоннами, на театр похожий. Неужели в Киеве такая тюрьма? Только успели мы об этом подумать, как милиционер и говорит:

— Вот, мальчики, Исторический музей, где сейчас весь ваш класс вместе с учительницей. Пойдем поищем их. Потому что они же, наверно, волнуются, думают, что вы совсем потерялись.

— Так вот оно что! — радостно подпрыгивали наши души. — Так вы, значит, не в тюрьму нас, товарищ Паляничко? А вы в музей, к Галине

Сидоровне! Ох, какой же вы молодец, какой же хороший человек!

— И не переживайте, мальчики, — успокоил нас хороший человек. — Я вашей учительницы скажу, что вы следили за шпионами. Она не будет ругаться. Это же дело серьезное! Государственное!

— Не на...

— Не го... — одновременно выкрикнули мы. А что если... На всё село засмеют. И зачем Ява сказал!

— Он... по... пошутил, — зыркнув на Яву, поспешно сказал я.

— Угу! — понурившись, подтвердил Ява.

— Мы просто хотели... хотели... — Я никак не мог придумать, что же мы хотели.

— В Днепре искупаться, — подхватил Ява. Поэтому и удрали. Потому что Галина Сидоровна не разрешает. А у нас же Днепра не. А Днепр же, знаете...

— знаю, — улыбнулся старшина. — Ну, хватит. Вижу, ребята вы ловкие, изобретательные... Сам когда-то таким был. Только врать не надо. Пошли.

Поднялись мы на лестницу на площадь перед музеем. На земле что-то камнем выложено — словно великанские «классы».

— Это, — говорит старшина, — самое древнейшее в Киеве место. Тут почти тысячу лет тому назад Десятинная церковь стояла. Это её фундамент.

На цыпочках прошли мы по этому фундаменту.

А за фундаментом большая треугольная поляна, ровненькая обсаженная кустами, и посередине поляны — мы даже глазами не поверили — огромная копна сена. В центре Киева на самом древнем месте — копна сена, как на лугу. Это класс! И так нам эта копна мила, как привет из родной Васюковки. Смотрим, а за копной, около самого входа в музей, пушки стоят, пять пушек.

— Что это? — осмелев, спросил я.

— Это артиллерия, что быдла у нас на вооружении в сорок третьем, когда мы Киев от фашистов освобождали, — пояснил милиционер.

— А вы того... вы тоже освобождали? — спросил и смутился Ява, из-за того что нескромно спросил.

— Освобождали, мальчики. Что было, то было, — просто ответил старшина. — Даже ранило меня тут, в Киеве. В госпитале тут лежал. Киев для меня кровное, родное место.

Мы как-то совсем по-новому взглянули на него. Вот он, видишь, какой — старшина Паляничко. Хотелось что-нибудь еще спросить, но старшина уже подводил нас к музею.

Нужно было искать своих. Это было нелегко. Знаете, сколько там комнат! Первый этаж (доисторическое время) нам не очень понравился. Там не было ничего целого — всё кусочки какие-то, обломки, черепки битые. И самое почетное место занимал истлевший почерневший кусок долбленки. То же еще ценность! Я вам такого у нас на речке сколько хочешь найду...

Но второй этаж... Это да! У нас аж глаза разбежались. Вон воз чумацкий настоящий. На таких возах наши предки когда-то в Крым за солью ездили. А вон карета золотая, в которой митрополитов киевских возили. Ничего себе карета. Ой, смотри, оружие козацкое, настоящее! Ого-го сабля! Дай такую в руки старшине Паляничко, он только — рраз!.. Мы представляем себе нашего милиционера с оселедцем, в козацких шароварах, с саблей в руке. Ничего. Подходяще выходит. А вот ружье. Ох же и длинное! А пистолет какой!

Третий этаж. Вторая мировая война. Освобождение Украины от фашистских захватчиков. Тут от каждого стенда веет подвигами, геройской славою. Вот трофеи — полный сундук гитлеровских орденов, хоть лопатой гребь. А вот личные вещи знаменитого разведчика, что действовал в тылу врага и выкрал немецкого генерала, Ой, не торопитесь, дайте посмотреть! Это же сейчас нам так нужно, так нужно. Мы же сейчас, может, сейчас настоящие разведчики (как долго бы вы, товарищ Паляничко, смеялись!) И все это нам так надо знать! О! О! О! Вон же разные секретные документы. Вон... навстречу нам спешит Галина Сидоровна, а за ней все наши. Лицо Галины Сидоровны аж пылает.

— Вы меня до инфаркта доведете! Где вы были? Где?

— Потерялись, — каится Ява.

— Заблудились... — каюсь я.

— Потерялись-заблудились! Двадцать девять учеников на экскурсии. И никто, кроме вас, не потерялся, не заблудился... Мучители! Меня паралич разобьет из-за вас!

Мы вздыхаем. Мы не хотим, чтобы Галину Сидоровну из-за нас разбил паралич. Пусть будет здорова.

— Не ругайте их, очень прошу. Они больше не будут, — говорит старшина Паляничко, подкручивает ус, и глаза у него затуманиваются.

— Ох, извините! Я даже поблагодарила вас. Спасибо! Спасибо! — сразу покраснев, говорит Сидоровна, делает губы бантиком, и глаза у неё тоже затуманиваются.

— Не за что. Это наша обязанность.

— Ну все же, всё-же... беспокоились, привозили... Спасибо большое!

Не знаю, чтобы я делала.

Говоря, старшина Паляничко не сводит как-то по-особенному улыбающихся глаз с Галины Сидоровны.

А Галина Сидоровна, наоборот, то стрельнет глазами на него, то опустит их, то стрельнет, то опустит глаза. И говорит она с милиционером каким-то необычно мелодичным мягким голосом — совсем не таким, как с нами.

— Вы зря так переживаете, нервы себе портите. Мальчики они сообразительные, никуда не денутся, — говорит старшина и смотрит на Галину Сидоровну по-орлиному.

— Ох, знаете! С ними так тяжело, так тяжело... Я их люблю, но... — словно горлица, воркует Галина Сидоровна и гладит по голове сперва меня, потом Яву.

Ява подмигивает мне. Я тихонько хмыкаю в ответ(я подмигивать не умею, у меня оба глаза моргают, как у деда Варавы).

Молодец старшина! Спасибо! Геройская милиция в Киеве. Потом мы все выходим из музея и едем на Владимирскую горку. И старшина Паляничко вместе с нами.

Потом мы идем во Дворец пионеров(Ух, классно! Это дворец! Сказка!). И старшина Паляничко вместе с нами.

Потом мы садимся на машину (Кныш и Бурмило уже давно тут и ведут себя спокойно — будто совсем обычные люди) и отправляемся в путь.

А старшина Паляничко торжественно прикладывает руку к козырьку и стоит так, отдавая честь, пока мы не исчезаем из вида. А Галина Сидоровна долго машет ему платком, даже тогда, когда его уже не видно.

И снова сама собой полилась песня:

Ось і вечір, вівці біля броду
З Черемошу п'ють холодну воду,
У садочку вівчаря стрічає
Дівчинонька, що його кохає.

(Вот и вечер, овцы возле брода
Из Черемоша пьют холодную воду,
В садике овчара встречает
Девушка, которая его любит.)

Мы с Явою лукаво переглядываемся и тянем во всё горло:

У садочку старшину стрічає
Дівчинонька, що його кохає.

(В садике старшину зустрічає
Дівчушка, котра яго любіт.)

И так нам весело, что мы даже падаем. Но Галина Сидоровна ничего не слышит и не видит — поёт, заливається... Прощай, Киев! Прощай, старшина Паляничко!

Глава 4

Тренировка на плесе. А не ищут ли они Папушино ружье?

...Безлюдный плес в плавнях. На песчаном островке за кустом ивняка сидит Бурмило в широченных смешных трусах, похожих на женские. На ногах у него ласты. Во рту трубка акваланга, к лицу он подгоняет маску. Фыркает, как кит, — нос мешает. Сквозь стекло маски заглядывает Бурмило в брошюру, которую держит в руках, — сверяется с инструкцией. Рядом — одетый Кныш. Вот Бурмило отложил брошюру. Пошел к воде, цепляясь за землю ластами и спотыкаясь. Шлёп — упал. Поднялся. Не выпуская изо рта трубки, что-то гудит, наверно, ругается.

Зашел в воду. Нырять. Над водой мгновение дрыгаются худые волосатые ноги в ластах, потом исчезают. Нет Бурмилы, только рябь по воде пошла.

Кныш внимательно смотрит на воду. Секунда, две, три...

Но вот появились на воде пузыри, пузыри, пузыри... Р-раз! — вынырнула Бурмилова голова. Лихорадочно срывает Бурмило маску, трубку. Отфыркивается, отплёвывается. Тяжело дыша, вылезает из воды.

— Фу... Фу... Тьфу!... Тьфу! Чуть не утонул. Фу-у-у! Нельзя мне еще на глубину идти. Опасно. Потренироваться сперва хорошенько надо. Ведь там метров шесть, а то и все восемь будет.

— Конечно, конечно... Потренируйся. А как же! — успокаивал его Кныш. — Но у тебя хорошо получается. Дело пойдет! Если бы я так мог...

— Да, нелегкая, оказывается, эта штука. Здоровье как у быка надо, — набивает себе цену Бурмило.

Зато потом... Потом ты мне сапоги целовать будешь. Жизнь, как в раю будет. — Кныш щелкает по шее и гогочет, Бурмило гогочет в ответ.

И не знают Кныш с Бурмило, что мы с Явою всё-всё это видим и слышим. Мы притаились в камышах на другой стороне плеса и наблюдаем. По очереди мы передаем друг другу старый полевой бинокль моего отца. Хотя бинокль и слепой на один глаз, а в другом стеклышки поцарапаны и бельмоваты от времени (папа еще в войну, когда он был маленьким, подарил его офицер-фронтовик) но всё же это бинокль, шестикратный, и в шесть раз приближает объект наблюдения.

Нам повезло: на следующий день после приезда из Киева мы «взяли

след» — выследили, как Бурмило и Кныш подались в плавни, украдкой за ними на плоскодонке.

И вот наблюдаем.

— Слушай, — шепчет Ява. — А может, они за тем ружьем стендовым ружьём, что тогда Папуша утопил?

Я неуверенно пожимаю плечами, не отрывая бинокля от глаз (сейчас моя очередь). И вспоминаю о стендовом охотничьем ружье.

Правду говорят — охотничий тут рай, в наших плавнях. Плавни у нас знаменитые. Начинаются от нашего села, на много-много километров тянутся они на юг. Как зайдешь, куда взгляд не кинь — всюду плавни от края и до края. Плесы граничат с топью, покрытой кочками, с островками, поросшими осокорями и вербами. Но в основном плавни — это камыши, камыши высоченные, трехметровые, непролазные камыши. В этих камышах люди прорезали так называемые стружки — узкие извилистые коридоры чистой воды, по которым можно проехать на лодке. Заблудиться в этих стружках — раз плюнуть.

Недаром во время войны плавни наши были партизанским краем. Сотни партизан скрывались тут, и немцы ничего не могли с ними сделать.

А дичи в плавнях — как мошкары, даже темно. И кряквы, и чирята, и лысухи, и бекасы, и дикие гуси... Чего только нет.

Представляю, сколько охотников понаедет этим летом в августе на открытие охоты «по перу». И эти, конечно, приедут, киевские, что всегда приезжают.

Тот долговязый черненький Олесь, у которого собственная «Волга». И лисоподобный, как называет его дед Варава, Гонобель — остроносенький, мелкозубый, с большими ушами, в очках — правда похожий чем-то на лисичку. И приземистый, круглолицый немолодой уже Папуша. И дородный лысый Бубченко.

Все они кандидаты каких-то наук. Что такое «кандидат», мы хорошо знаем. Явина мать была кандидатом в депутаты районного совета. Её биография с фотографией висела на стене нашей школы. Но это было недолго. Прошли выборы, и Явина мать стала депутатом. А эти третий год приезжают, и всё еще кандидаты.

— Что-то долго их не выбирают, — говорил Ява. — Наверно, не очень способные к науке. Как мы с тобой.

— Наверно, — соглашаюсь я.

Вот и в этот раз, уверен, приедут киевские кандидаты. И, естественно, снова остановятся они у деда Варавы. Они знают, у кого останавливаются. И с вечера по давней охотничьей традиции будут пить водку; рассказывать

разные охотничьи истории и петь песни, подтрунивать друг над другом. А дед разбудит их еще до рассвета, и они повскакивают — заспанные и будто больные. Торопливо собирая свой охотничий инвентарь, будут морщиться от головной боли, трястись от утренней прохлады и стонать. А Бубченко вообще не захочет вставать. Накрыв лицо шляпой, он хрипло будет бурчать из-под неё сонным голосом:

— Ложитесь! Что вы повскакивали! Ночь на дворе. Не успели уложиться — и уже... Идиоты... Хр-р-у, — и сразу начнет храпеть.

Они долго будут его расталкивать, он будет брыкаться, говорить: «Идите, я вас догоню», — наконец ругнется нехорошим словом и встанет. И двинутся они в плавни. Дед на долбленке, они на плоскодонках. Дед только и делает, что стоит и ждет их. Потому что они не едут, а зигзагами петляют по воде: с левого борта гребнут — лодка направо плывет, с правого борта гребнут — налево плывет, и так всё время. Дедова же долбленка — как по струнке идет. Ох и долбленка у деда Варавы! Лёгкая, как перо, летит по воде, как птица, как эти новые корабли на подводных крыльях. Но усидеть на ней, кроме деда, мало кто мог. Очень опрокидистая была долбленка. Плынешь на ней, словно по проволоке идешь, — всё время балансировать надо.

В позапрошлом году на открытие сезона охотников к нам приехало видимо не видимо. Лодки все поразбирали. А киевские опоздали — уже ночью приехали. Не досталось им лодок. Одна дедова долбленка.

— Вдвоем на этой долбленке плыть нечего и думать — утонет, — сказал дед. — А так можно было бы поразвозить по местам.

— Можно и по одному переехать, — говорит Гонобобель.

— Абсолютно правильно, — спокойно заметил дед. — А оттуда кто лодку будет пригонять?

— Т-так, — глубокомысленно пробормотал Гонобобель.

— А если мальчишек использовать? — сказал долговязый Олесь (мы как раз рядом стояли).

— Еще утопите мне мальчишек, — буркнул дед.

— Да нет! Чего там! — вырвалось у меня. — Мы же легкие. По очереди будем перевозить. А если и перевернемся, то вы же знаете, как мы плаваем! Как утки!

— Ну что же, попробуйте, — согласился дед. — Только разденьтесь, ребята. Всё-так, наверно, придется искупаться.

Поскольку я первый выскочил, то и первый перевозил. Перевозил Олесь. Ну. перевозил, наверно, не то слово потому что перевернулись мы возле самого берега, даже не успели отплыть. Только он сел, только начал

умащиваться, как тут же и перевернулись. И хотя у берега было совсем мелко, Олесь умудрился погрузиться в воду с головой.

— Проклятая долбленка! Душегубка, а не лодка. Чтоб её черт побрал, — ругался он, вылезая на берег и отряхиваясь, как собака.

Товарищи смеялись, а Папуша сказал (он говорил, широко растягивая губы, а вместе с ними и слова).

— Вот вертлявый! Молокосос. Усидеть не может! Иголka в штанах! Сейчас я поеду...

И полез в долбленку.

— Вы седалом, седалом прямо на дно садитесь, — советовал дед.

Но на дне долбленки была вода, и Папуша не хотел намочить штаны.

— Это еще седало так застудишь, — сказал он, положил поперек бортов дощечку и сел на неё. Дед поддержал долбленку, пока мы усаживались, а потом отпихнул нас от берега. Я осторожно начал грести, и мы поехали. Папуша сидел прямо, как первый ученик за партою. На коленях двумя руками держал ружьё, балансируя им, как канатоходец.

«Хорошо сидит, доедем», — подумал я. Мы уже были как раз на середине реки. И тут над нами низко-низко с шумом пролетело три кряквы. Папуша сразу дернулся, вскинул ружье (охотник он был очень азартный), но выстрелить не успел, — мы утратили равновесие. Лодка начала наклоняться-наклоняться на бок.

— Дядя! — кричу. — Осторожнее, переворачиваемся!

Он только рукою по воде — шлеп, шлеп, шлеп...

Да разве рукою за воду удержишься? Бултых! Последнее, что я видел, — это как новенькие резиновые сапоги с длинными голенищами мелькнули в воздухе, и над ними сошлась вода. Я сразу вынырнул и схватился за опрокинутую долбленку. Спустя мгновение из воды выглянула Папушина голова — лица не видно: мокрые волосы до подбородка всё залепили.

— Ружьё! — буль он и снова исчез под водой, — как поплавок, когда клюет рыба. Потом снова выглянул:

— Ружьё!

И снова под воду.

— Что там у вас? — весело закричали с берега.

— Дядя ружье, кажется, утопил! — заорал я в ответ.

Тут и Папуша совсем уже вынырнул и, отплевываясь, прорыдал:

— Упусти-и-ил! Стендовое! Цены нет!

Едва мы с ним до берега добрались — я долбленку и весло перед собой толкал, а он... Я уже боялся, чтобы он с горя сам не утонул. Плывет

и с тонет:

— О Господи! Такое ружье! такое ружье!

На берегу дед начал успокаивать:

— Ничего, вытащим! Вон мальчишки нырнут и вытащат.

Снарядили нас. Поплыли мы. Ныряли-ныряли — ничего не вытащили. Дно заилено, затянуло в ил ружье, разве найдешь?

Пока мы ныряли, дед Варава успокаивал Папушу, а когда не нашли, дед рассердился на него — словно Папуша не своё, а его, дедово, ружье утопил:

— А зачем вы, дурной, дергались? Зачем дергались? Надо было сидеть спокойненько! Ехать, раз везут! Так нет — крякв ему захотелось. Первому. Еще никто не стрелял, а он уже, видишь, дергается. Таковую дорогую вещь утопил! Разве можно вам ружье доверять? Из пукалки вам стрелять, а не из ружья.

Папуша виновато молчал, и не оправдывался, и не обижался, что дед его, кандидата, ругает, как школьника. Дед часто на охоте под горячую руку и ругал, и насмехался над ними, и никогда не обижался. Невыгодно им было обижаться. Дед Варава знал плавни, как свои пять пальцев. Во время войны был он тут у партизан проводником — «главным лоцманом», как его тогда называли. И все охотники знали: как пойдешь с дедом на охоту, никогда без дичи не будешь. Сколько не приезжал после этого Папуша, всегда горько вздыхал, вспоминая свою «дорогую утопленника» (он говорил о нем, как о живом существе с нежностью и печалью). А когда мазал — кидал на землю свою теперешнюю «тулку» и едва не топтал её ногами, восклицая:

— Проклятая палка! Разве это ружье! Оглобля не струганная! Черенок для лопаты! Эх, если бы жив мой утопленник! Разве я бы пропуделял эту крякву.

Всё это доказывало, что ружье это было и правда очень ценная вещь и нырять за ним действительно стоило.

— Ну, а что же тогда означает эти «вермахт», «подарочек от немцев»? — сказал я. — И эти «Двадцать железных», и всё другое?

К обычному, пусть даже стендовому, ружью все эти таинственные шпионские слова никак не относились.

— Нет, они не о ружье, — уверенно сказал Ява. — Это точно! Папуша, помнишь говорил, что он полную цену заплатит тому, кто вытащит, лишь бы только вытащили. Так чего же прятаться...

Правильно, я вспомнил, Папуша так и говорил. И он бы заплатил даже больше, чем это ружье стоило, потому что, кроме всего прочего, верил, что

от него зависело его охотничье счастье (что-то слишком часто уж «пуделял» он из своей новой «тулки»)… Вариант с ружьём отпадал.

Тем временем Бурмило снова нырнул, смешно дрыгнув над водой ногами в ластах. И почти сразу вынырнул. Из трубки, которую он держал во рту, как из фонтана, метра на два вверх забила вода. Потом кашель и ругань.

— А чтоб ему! Это же я так утону! Зачем это мне надо!

— Ну, тихо-тихо-тихо! Как пацан! — скривился Кныш.

— Это маска чертова меня подводит, — Бурмило рванул с лица маску. — Я думаю, что я, как в противогазе, и начинаю дышать, а тут — вода… сразу захлебываюсь. У меня же жабр нет.

— Значит, нужно подстраховываться. Подстраховываться нужно. Привяжем к твоей ноге веревку, я конец в руке держать буду — для страховки. В случае чего, я раз — и вытащу. Но это уже в другой раз. На сегодня хватит — Кныш взглянул на часы. — А то я на аэродром опоздаю. Я же говорил — спецзадание.

Мы переглянулись. «Аэродром», «спецзадание»… Это что такое… Одним словом, кровь их носа — мы должны знать, что это за спецзадание на аэродроме.

— Айда! — шепчет Ява и хватается за весло. Я тоже. Никогда еще наша плоскодонка так не мчалась, как в этот раз. Вода даже бурлила за кормом. Нам обязательно нужно было раньше Кныша добраться до берега.

Глава 5

Карманная атомная бомба на транзисторах. Кто такой Фарадеевич

И вот мы уже что есть духу бежим по селу. Вбегаем на колхозный двор, где стоит грузовик Кныша, и сразу тормозим. Фу! Тут уже бежать нельзя, а то привлечем внимание. А нам надо незаметно, потихоньку забраться в кузов грузовика. И мы, засунув руки в карманы и независимо поплёвывая, не спеша семеним. На встречу нам белозубо улыбаясь испачканный (всё лицо в мазуте) комбайнер Гриша:

— Здорово, мальчишки! Что — гайку какую-нибудь украсть надо?

— Да нет, просто так... гуляем... — равнодушненько сплюнул сквозь зубы Ява.

— Ну смотрите, как пол-комбайна у меня пропадет, ноги пооткручиваю, — смеется Гриша и заходит в открытые двери мастерской.

Мы оглядываемся. Кажется, никто не смотрит...

— На абордаж! — командует Ява.

Раз-раз-раз! Оп! Он уже в кузове. Теперь я.

Раз-раз-раз!.. Др-р-р!..

А чтоб тебя! Зацепился. И — как штаны на заборе, по обе стороны свесился. Не туда не сюда.

Ява хватает меня за воротник — дёрг! Др-р-ррр... Оп! Лягушкой шлёпнулся в кузов. Посмотрел — вот такой кусок штанов треугольником на бедре отвалился, тело моё грешное небесам выставил. Ой, будет мне от матери! Что же, придется терпеть: за шпионами бегать — не в карты играть.

Только бы Кныш в кузов не заглянул... А то повыкидывает, как щенят, он такой! Сколько не проси: «Дядя, покатайте!» — никогда не возьмет. И спрятаться, прикрыться нечем — пустым-пустой кузов.

А вот стукнула дверца, заурчал мотор — дернулась и двинулась машина.

Повезло! Не заглянул. И снова нас подкидывает на выбоинах — хорошо, что хоть стульев нет над головой. Ничего, вытерпим — до аэродрома километров десять, не больше.

Мы только по несколько синяков да по две-три шишки понабивали, как уже и приехали.

Когда машина остановилась и Кныш вышел (хлопнула дверца), мы осторожно и медленно-медленно высунули головы. Вон трепещет надутый ветром полосатый конус на служебном домике. Стоят несколько самолётов сельхозавиации. Из грузовика ленточным транспортером нагружаются в один из самолётов минеральные удобрения.

Кныш подошёл к лётчикам, которые курят около домика, что-то спрашивает, смотрит на часы, потом, приложив руку к глазам, — в небо. И словно только и ждал нашего приезда, появляется в небе самолёт. Уже слышен гул мотора.

— Заходит на посадку, — авторитетно шепчет Ява.

И вот уже, подпрыгивая, катит самолёт, севший на посадочную полосу, обозначенную вешками.

Кныш сразу побежал к самолёту.

Спустив на землю металлическую лестницу, из самолёта вышел лётчик. В руках у него — продолговатая коробка, из которой торчит какая-то трубка. Лётчик передал коробку Кнышу, что-то говорит (нам не слышно) и показывает, мол, осторожно. Кныш берет коробку так, словно в ней взрывчатка.

— Что это? Что он передал? — обеспокоенно спрашиваю я.

— Что-то подозрительно, — говорит Ява. — Может... Может, атомная бомба... из Америки...

— Очень маленькая для бомбы, — пытаюсь успокоить себя я.

— Много ты понимаешь, — хмыкает Ява. — А если на транзисторах... специально для шпионов.

Кныш осторожно влазит в кабину, заводит мотор, и мы едем. Нет, наверно «едем» не то слово. Мы ползем, понемногу, аккуратно, объезжая каждую ямку, каждый камушек. Только один раз в жизни я видел, чтобы этот грузовик так ехал. Тогда он был покрыт красным кумачом и на нем стоял... гроб. Это — когда всем селом хоронили героя гражданской войны деда Опанаса. Воспоминание об этом факте острым шипом пронзает сердце. А если и правда, взорвется? И хоронить нечего будет — от нас ведь даже пепла не останется. Атомная бомба — это же...

— Ява, — шепчу я, — а давай с-слезем...

— Зачем? — спрашивает он, но по глазам вижу, что он не против того, чтобы слезть.

— Чем так ехать, то лучше идти! На такой скорости он от нас всё одно не сбежит. Да и ноги размять хочется.

Мы перелезаем через задний борт и прыгаем, по-лягушачье шлепаясь на землю.

Ява сразу приседает и валится на бок. Я наклоняюсь над ним. Ява держится за ногу и морщится:

— Я, чёрт... подвернул...

Но по глазам вижу, что он врет, ничего он не подвернул. Молодец. Я бы не догадался. Машина уже отъехали метров на сто. Теперь можно за ней. Если что, хоть в канаву упадем — всё-таки защита...

— Идти можешь? — для вида спрашиваю я.

— Попробую, — прячет глаза Ява.

Некоторое время он хромает, но потом забывает и перестает хромать. Мы идем за за машиной. Нам даже не нужно торопиться — так медленно она движется.

Вот и село. Машина сворачивает в узенькую, тихую, всю заросшую спорышем зеленую улочку и останавливается у островерхого домика под черепицей.

Мы удивленно переглядываемся.

О, мы хорошо знаем этот домик! Тут же живет Фарадеевич, знаменитый на весь район, а может и на целую область. Фарадеевич.

Вы не знаете, кто такой Фарадеевич?! Да ну! Разве?

О, это необыкновенный, удивительный человек! Человек, каких, как говорил мой папа, на миллион попадается один, да и то не на каждый миллион.

Он — сельский библиотекарь. Официально. А не официально — изобретатель. А, как говорил Явин дед Варава, универсальный изобретатель. Я не знаю, что он не умеет или не может. Он и механик, и электрик, и по разным там радиштукам (те что на транзисторах, полупроводниках), и селекционер (новые невиданные сорта овощей, фруктов) и по гидросистемам — просто не сосчитать.

Чего он только не наизобретал! И паровой двигатель, который сам качает воду из колодца (из обыкновенного примуса и старой выварки; и пневматическую садовую лестницу (нажал кнопку — пухф! — лезь себе на самую высокую грушу); и гидрогазовую поливалку на три атмосферы (вода под давлением газа разбрасывается на пятнадцать метров)...

Бахчевник дед Салимон когда-то говорил, если бы Фарадеевичу «дать рублей сто на запчасти, он бы сам построил какую-нибудь межпланетную станцию»...

Да что там говорить. Вы только зайдите к нему!

Открываешь калитку — и сразу из-за куста выскакивает на шесте смешной улыбающийся фанерный человечек. Одной рукой он на ходу снимает шляпу, а в другой держит дощечку с надписью: «Здравствуйте!

Добро пожаловать!».

Идешь от калитки по беленькой, посыпанной речным песком дорожке. Справа — смотрите! — куст какого-то овоща по специальной решетке метра на два вверх поднимается, и плодов на нем красных обильно, даже в глазах мелькает. Вы думаете, что это какая-то ягода, а это помидоры. Карликовый сорт. А вон здоровенная зеленая колбаса на земле лежит. Это не тыква, нет, это — огурец. А свекла, а морковь, видели бы вы — одной морковкой можно бегемота убить.

Слева — колодец, белым кафелем обложенный, как амбулатория. Ну, где вы такой колодец найдете?

Возле колодца паровой двигатель на примусе, о котором я говорил, и похожая на пушку гидрогазовая поливалка. Да вообще всех хитроумных штуквин и приспособлений не счесть.

Нет, не зря прозвали его Эдисон Фарадеевич (по правде, он Антон Фадеевич). Но это прозвище не обидное, произносили его люди ласково, потому что все любили старика. Он высокий, худой, костлявый и весь светится — волосы светлые, брови светлые, ресницы светлые, — не поймешь, то ли он блондин, то ли седой (лет ему было под семьдесят), а вот глаза голубые-голубые, даже синие.

Он не из наших мест, пришелец. Лет пятьдесят назад в гражданскую он воевал тут, познакомился с бабой Оксаной (она тогда молодая была) и остался на всю жизнь.

Был он добряк, какого мир не видел. Всегда у него можно было выпросить всё, что хочешь, — последнее отдавал. И всё время улыбался. Сердился он только тогда, когда видел порванную каким-то «юным читателем» библиотечную книгу.

— Эх, — говорил он, — какой же это академик читал. Дал бы я ему по западному полушарию!

Но никто не припомнит, чтобы когда-нибудь дал он по «западному полушарию».

Детей любил он страшно. Своих они с бабой Оксаной не имели — ни детей, ни внуков. Жили только вдвоём. И весь урожай своего удивительного сада раздавали нам — просто даже неудобно. Последнее время, уже месяца два, баба Оксана хворала, лежала в районной больнице. И Фарадеевич через день ездил туда. И именно сегодня тоже поехал — мы точно знали.

А в это время Кныш...

Спрятавшись в кустах у плетня, мы видели, как открылись дверцы машины и оттуда показался сначала зад Кныша в лоснящихся, грязных

штанах, а затем уже весь Кныш, осторожно держа в руках эту загадочную продолговатую коробку с трубочкой. Ступая по земле, как канатоходец, он пошел к калитке. Пхнул её ногой. Раз! — фанерный человечек из-за кустов: «Здравствуйте! Добро пожаловать!» Кныш механически кивнул ему, как живому, и на крыльцо. Скрипнули двери (Фарадеевич никогда не закрывал своей хаты), и Кныш исчез внутри.

— Хочет поднять Фарадеевича на воздух, — бросил на меня Ява острый взгляд.

— Зачем?

— Наверно, Фарадеевич что-то такое изобрёл, что вот там вот не понравилось, — Ява многозначительно ткнул оттопыренным пальцем куда-то вбок — за океан.

И сразу взбудораженное воображение мое рисует огромный темный, зловещий кабинет. За огромным столом сидит страшный генерал со свастикой на рукаве. Перед ним вытянулись в струнку Кныш и Бурмило. Генерал достает из ящика пачки денег и бросает на стол. Кныш и Бурмило хватают деньги и жадно запихивают в карманы, за пазуху. Генерал что-то приказывает и делает руками жест, показывая взрыв. Кныш и Бурмило, кивая, пятятся к дверям.

...Взрывается, взлетает в воздух домик Фарадеевича...

И тут — шоссе. На крутом повороте мчат на мотоциклах Кныш и Бурмило. Бурмило мокрый, в маске от акваланга, с трубкою в зубах. А за ними на мотороллерах — мы с Явою. Раз за разом Кныш оборачивается и стреляет в нас из пистолета. Свистят пули, бешено режут моторы... Мужественные наши лица преисполнены героизма и отваги.

Потом — хоп! — мотороллеры выскальзывают из-под нас, мчатся по шоссе и исчезают... И вот мы уже на трибуне в окружении генералов, известных людей, чуть ли не членов правительства. На наших грудях поблескивают новенькие медали «За отвагу». Внизу — море людей. Они держат наши портреты и транспаранты с надписями: «Слава героям!», «Да здравствуют Ява и Павлуша!», «Назовём киевское метро именами героев!», «Переименуем Почтовую площадь в площадь Явы и Павлуши!». Оркестр играет туш... И вдруг сзади меня кто-то больно-пребольно — щип! «Ты что?..» Я так увлёкся, что забыл всё на свете, начал наигрывать на губах туш: «Тра-та-рам-та-ра-ра-рай-ра-рам!» — и не заметил, как из хаты Фарадеевича вышел Кныш. И насколько медленно подъехал грузовик, настолько быстро он уехал.

Мы переглядываемся и какое-то время молчим.

Потом Ява шумно выдыхает и говорит:

— Пошли! Мы не можем этого допустить!

Я тоже выдыхаю, но значительно тише, и говорю:

— Рискованно! Может взорваться

Я представляю шумные похороны, заплаканных односельчан, наши портреты в траурных рамках — и у меня щиплет в носу, как от лука.

— Но не можем же мы допустить... — говорит Ява. — История нам не простит.

Мне хочется сказать, что истории мы с Явой до лампочки, у неё есть дела поважнее, но так и не решаюсь, у Явы очень серьезное лицо.

— Ну, тогда на всякий случай — прощай! — вздыхаю я.

— Прощай! — вздыхает Ява, и мы сдержанно, по-солдатски обнимаемся. У меня в носу щиплет еще больше.

Хотя двери открыты и можно спокойненько себе зайти, однако мы лезем в окно — где вы видели, чтобы герои на опасную операцию ходили через двери!

Таинственная продолговатая коробка стоит на столе.

Ява берёт её.

Открывает...

В коробке... синий термос, из крышки которого торчит стеклянная трубочка, обернутая марлей.

Ява, вытянув в сторону руки и отвернувшись от термоса, медленно-медленно отвинчивает крышку. Еще немного, еще...

— Осторожно... Осторожно... Осторо...

Ба-ббах-х!

Я бухаюсь на пол и закрываю глаза. Всё! Нас разорвало...

Но почему же я тогда слышу, как что-то журчит и булькает? Неужели это на том свете журчит и булькает?

Я открываю один глаз, потом второй.

Я сижу в луже на полу.

Напротив меня сидит с перекошенным лицом и закрытыми глазами Ява. В руках у него синий термос, из которого что-то льётся...

Возле меня валяются черепки крынки.

Ясно: отступая, я ненароком скинул с шестка крынку с водой.

Вот тебе и «ба-бах».

— Ява! — зову я. — Отбой!

Ява мгновенно открывает глаза и подскакивает.

— Спасай термос!

Но уже поздно — почти половина вылилась. Дрожащими руками Ява завинчивает крышку термоса и ставит его на стол. А потом...

Вы видели когда-нибудь ускоренную съёмку, когда люди двигаются с бешеной, невероятной скоростью?

Если бы нас с Явой кто-то захотел в эту минуту снять в кино с такой целью, то не надо было бы ни какой ускоренной съёмки.

Мы, как муравьи, суетились на полу на четвереньках стремительно собирая черепки и вытирая лужи своими штанами и рубашками. При этом мы то и дело сталкиваясь лбами и иными, менее почтенными частями тела... За минуту всё было чисто-пречисто. И, пулей вылетели из хаты Фарадеевича (на этот раз в дверь), мы во весь дух летели по улице.

Глава 6

Оказывается, это глобулус! Космические мечты Фарадеевича. «Жизнь запутанная и сложная штука!»

— «Атомная бомба»! «На транзисторах»! Барахольщик! — ворчу я.

— Молчи! «Давай слезем»! «Ноги размять»! Герой! — фыркает Ява.

У нас плохо на душе, как говорят, кошки скребутся. Так попасть с этой «бомбой»! Да ещё и разлить этот термос. Мысль об этом не давала нам покоя.

Фарадеевич приехал уже под вечер, и в этот день мы ничего так и не узнали. Нет, всё же узнали. Что Фарадеевич благодарил Кныша за «великую услугу». Оказывается, «спецзадание» давал он. И Кныш по его просьбе привёз синий термос.

На следующий день мы с раннего утра побежали к хате Фарадеевича. Там уже было полно юннатов-старшекласников, с которыми Фарадеевич водил дружбу.

Мы прибежали как раз вовремя — Фарадеевич вышел на крыльцо с синим термосом в руках. Его сразу обступили юннаты.

— Антон Фадеевич, ну скажите! Антон Фадеевич, ну будьте добры! Антон Фадеевич, ну хоть намекните! — заканючили нетерпеливые юннаты.

— Потерпите, господа-товарищи, потерпите! Обо всём на месте узнаете, на Высоком острове.

И Фарадеевич, окруженный юннатами, вышел на улицу.

Мы, конечно, пристроились к ним.

Но тут двухметровый здоровяк-девятикласник Гришка Бардадым споткнулся о нас и загудел, как из бочки:

— А ну, кыш! Крутитесь под ногами! На вашего ума это дело! Кыш!

И мазнул своими граблями нас с Явой по затылкам. У-у, бегемот! Ну подожди, мы вырасти, мы тебе дадим!

А чего они так задаются, эти старшекласники? Подумаешь, мудрецы! Тоже двойки получают.

А на Высокий остров мы и без вас дорогу найдём.

Мы приплыли туда еще раньше, чем они. Не зря Ява был внуком деда Варавы, а я Явин друг. Мы знали в плавнях такие узенькие протоки в камышах, которые почти никто в селе не знал.

Высокий остров — один из самых больших в плавнях. Высоким он назван из-за крутых высоких берегов. Посреди острова есть даже небольшое озерцо, наполовину затянутое ряской и белыми лилиями. Собственно, это не озеро, а затон, отделенный от плёса небольшой плотиной. Ранней весной, когда была большая вода, Фарадеевич для чего-то загатил затон, и теперь уровень воды в этом озерце был выше, чем всюду в плавнях.

Мы спрятали свою лодку в камышах, а сами притаились в кустах неподалёку от озерца — не хотелось связываться с этим Бардадымом, пока мы не выросли.

С одной стороны озерца стоял шалаш Бурмилы — это была его охотничья база, или, как он говорил, «президентия». Самого Бурмилу не видно — или рыбу ловит, или спит после рюмки, или... Да мы об этом уже почти не думаем (после «атомной бомбы на транзисторах» как-то не думается).

Из-за камышей уже слышны писклявые голоса девчонок и неестественный (словно у него галушка во рту) Бардадымов басок.

Три лодки пристают к острову.

Фарадеевич с термосом в руках подходит к озерцу. Юннаты полукругом обступают его.

Фарадеевич торжественно поднимает термос и начинает (голос его дрожит и срывается от волнения — он всегда волнуется, когда рассказывает о каком-нибудь новом своем открытии):

— Так вот... господа-товарищи, это вот... тут... в середине... прилетело к нам... Знаете откуда?.. С Сахалина... Да-да-... сотни и сотни, как видите, километров. А впереди, может, миллионы, а то и все миллиарды миллиардов километров... Знаете, что тут? Тут... тут... господа-товарищи... будущая еда астронавтов... звездных небожителей... будущего... Вот что это! Вы, уверен, слышали о чудесной водоросли — хлорелле... А? Так вот... в этом термосе — новый вид такой водоросли. Глобулус! Может, еще лучший, чем хлорелла... Мой сахалинский друг вывел в лаборатории... И прислал, чтобы мы... это самое... продолжили работу. Вырастили глобулус в природных условиях. Проверили, как он примется и будет расти. Понимаете, какая ответственность! Может же, вы себе представляете, астронавты когда-нибудь угостят нашим глобулусом марсиан или каких-нибудь других гавриков.

Мы с Явою слушали не дыша.

— Слышишь, еда астрономов, а мы... — шепчу я пересохшими губами.

— Астронавтов, дурило! Астрономы — это те, кто в трубы смотрят. Они сало едят и вареники, как мы с тобой.

— Сам дурило! Знаю! Это я так... Какой умный! — шепчу я. И представляется мне:

...Гигантская ракета на старте... Астронавты, которые заходят в ракету, люди у подножья ракеты... Вдруг они расступаются, пропуская автотележку, на которой штабели картонных коробок. На коробках большими буквами написано: «Глобулус», «Привет из Васюковки», «Глобулус „Супер-Васюковский“».

А потом — Марс. В прозрачном шлеме, в скафандре стоит астронавт на фоне фантастического марсианского пейзажа, окруженный марсианами, похожими на здоровенных головастика, и угощает их глобулусом, выдавливая его из тубика, как зубную пасту. Марсиане пробуют, чмокают от удовольствия и показывают большой палец — о! Только... чем их будут угощать, что же будут есть бедные астронавты, если мы с Явой в недобрый час перевернули этот термос? Помрут, бедолаги, с голода, не долетят до Марса.

— Глобулус — одноклеточная микроскопическая водоросль, — взволнованно рассказывает Фарадеевич, — и невооруженным глазом вы её, конечно, не увидите...

«Ой, кажется, и вооруженным тоже...» — дрожит моё сердце.

— Сегодня мы её, так сказать, посеём, потом начнем подкармливать... она начнет быстро размножаться, и тогда вы увидите...

«Увидите-увидите... если будет, что сеять... Ой, мамочки, зачем мы полезли, зачем трогали этот термос?»

Сейчас Фарадеевич открутит крышку и... И будет страшный «пшик», как говорит дед Салимон. Бардадым первый захохочет — я его знаю.

И кого... кого мы подводим! Человека, перед которым мы («гангстеры!») немеет от восхищения и становимся смирными, как овечки; человека, который, если спросить: «Кого ты больше любишь?» стоит у нас на третьем призовом месте (после мамы и папы), а то и частенько выходит на второе и даже на первое (когда папа: «А ну, снимай штаны, лоботряс!», а мама: «Вот подожди-подожди, я тебе уши пообрываю!»). Правда, эта любовь была скрытная, платоническая, издалека. Фарадеевич о ней, может, и не догадывался, потому что дело имел больше с этими бардадымскими старшекласниками, которые нас («А ну, кыш, малявки!») на пушечный выстрел к нему не подпускали. Но тем более...

Фарадеевич отвинчивает крышку и торжественно произносит:

— Внимание, господа-товарищи, вы-ли...

Мы с Явою молниеносно переглянулись.

— Ой!

— Ой!

Сначала из кустов вылетело наше двухголосное ойканье, за ним сразу — мы.

Вы помните, в спектакле «Ревизор» Гоголя в конце немая сцена, когда все замирают в разных позах с раскрытыми ртами? Так вот, точно такая сцена имела место и теперь. На какой-то миг, конечно. Первым опомнился Фарадеевич.

— Что? — удивленно спросил он.

— Мы... — сказал Ява и взглянул на меня.

— Мы... — сказал я и взглянул на Бардадыма.

— Мы... — повторил Ява и тоже посмотрел на Бардадыма. — Мы... только вам можем... по секрету...

Фарадеевич улыбнулся.

— По секрету, так по секрету. Я люблю секреты.

Он отошел с нами в сторону и наклонился, подставляя ухо. И мы, перебивая друг друга, шепотом выложили в это ухо совершенно всё. Под конец Ява сказал:

— А теперь скажите всем... Пусть нам надают... по западному полушарию... Мы согласны.

Фарадеевич как-то странно скривился и протянул:

— Вот оно что... Хорошо...

Потом решительно направился к юннатам. Мы, заложив руки за спины, как арестанты, поплелись за ним.

— Так вот, господа-товарищи, сказал Фарадеевич. — Эти молодые люди (мы опустили головы) предлагают сначала хорошо укрепить плотину, очистить плёс, а уже тогда...

Мы вздрогнули, не веря своим ушам. Фарадеевич наклонился к нам и шепнул:

— Думаю, того, что осталось, хватит.

Потом выпрямился и громко произнёс:

— Думаю, правильно предлагают они, а?

— Хорошо! Правильно!

— Очистить! Конечно! — слышались голоса.

— Секрет! — сквозь зубы процедил Гришка Бардадым и дал по затылку своими граблями сначала мне, а потом Яве.

Да мы даже не почувствовали. Мы посмотрели друг на друга и засмеялись.

А когда юннаты полезли укреплять плотину и расчищать озеро от ряски, мы с таким азартом взялись помогать, что вода вокруг нас забурлила, закипела.

То и дело мы бросали на Фарадеевича восторженные, восхищенные взгляды. Вот же человек! Вот человек! Если бы сказал нам сейчас: «Пейте, мальчишки, озеро!» — ей-богу, выхлебали бы до дна! Вскоре озеро было бы чистое — ни рясочки. Все вылазят на берег.

Фарадеевич наклоняет термос, и тоненькой струйкой льётся в озеро прозрачная жидкость (что, как выяснилось потом, было «питательной средой», в которой был глобулус). Льётся и журчит. Льётся и журчит. Это журчание кажется нам волшебной музыкой.

— Скажите, пожалуйста, — робко спрашивает Ява, — а какой он будет? Когда примется?

— Какой? Видите этот плёс? Он будет — переливчато-изумрудным, как... как шёлк. Представляете?

Мы закивали головами, хотя я, честно говоря, не очень себе представлял.

— А какой же он на вкус? — послышался сзади голос Бурмило (мы еще раньше увидели его взлохмаченную голову, что выглядывала из «президенции», но нам было не до него).

— Как вам сказать, — обернулся к Бурмиле Фарадеевич. — Сам не пробовал. Но думаю, что похож на салат.

— На салат? Скажите! Выходит, под «Столичную» самое то. Люблю салатики... Дадите хоть попробовать с первого урожая? — И он хрипло загоготал.

— А почему же не дать? Пожалуйста, — так доброжелательно ответил Фарадеевич, что Бурмило смутился: — Да нет, я шучу. Это я так, посмеялся... для смеха.

Мне даже показалось, что он покраснел. Я взглянул на него и подумал: «Неужели вот это шпион? Живой шпион? Тьфу! Какой-то совсем не похожий. Ни в одном фильме не было шпионов, которые краснели. Ни в одной книжке детективной...»

Но Яве я ничего не сказал, не рискнул.

...В тот день в селе только и разговоров было, что про глобулус.

Куда не ткнешься:

— Слышали? Фарадеевич с учениками водоросль на Высоком острове выращивает. Особенную какую-то.

— Говорят, полезная — страх! Витаминов много. Одни витаминов.

— А ты что думаешь — космонавтов тебе жмыхом кормить будут?

— А как же, для них самое лучшее придумывают.
— Витамин на витамине сидит и витамином погоняет.
— А по-моему, больше всего витаминов в водке.
— Говорят, сам Попович приедет посмотреть на этот «глобулус».
— ...а если на ночь лицо им помазать — на двадцать лет помолодеешь.
— Улыбаться чаще надо — тогда помолодеешь. А ты ругаешься от зари до зари.

— И вообще, говорят, очень питательна. Все сто процентов усваиваются организмом. Отходов нет и на копейку.

Сказал своё слово о глобулусе, конечно, и мой папа. Я и не сомневался, что он скажет. Мой папа — страшный «любитель прессы», как он сам говорит. Без газеты или журнала я его, кажется, никогда и не видел, ест — читает, идет куда-то читает, телевизор смотрит — тоже читает.

С газетой в руке так и засыпает.

И каждый день за ужином он проводит для так с мамой такую политинформацию — рассказывает, что интересного вычитал за день. Именно от него я и о гитлеровских архивах на дне озер в Австрии и Чехии узнал, и о шпионах с аквалангах, и о многом другом. Столько всего интересного, как мой папа, никто в мире, по-моему, не знает (разве что Степан Карафолька). И этот глобулус (вид хлореллы) был для него как семечки.

— Эта хлорелла же, понимаете, чудо природы! Это же уникальная штука! Такая, понимаете, маленькая, и не увидишь, а большие дела делает. Это же не только еда для будущих космонавтов-астронавтов, это же, понимаете, и воздух, и вода... В прошлом году «Вести» писали про уникальный эксперимент наших ученых, когда целый, понимаете, месяц лаборантка Галя М. провела в гермокабине, воздух в которой постоянно обновляла «оранжерея» хлореллы — поглощала, понимаете, углекислый газ и в процессе фотосинтеза превращала его в кислород. Такой вот, понимаете, круговорот с помощью культиватора хлореллы, правда, с некоторой химической доочисткой, делала и вода.

Тут я папин рассказ должен прервать, которому что больше, не смотря на его «Понимаете», ничего не понял: даже мама только глазами хлопала и хмыкала.

Понял я только одно: что хлорелла — это вещь! И что без неё на другие планеты нечего и рыпаться.

А когда хлорелла — вещь, то глобулус и подавно, потому что он — «вид хлореллы, может, еще и лучший»

Значит, то над чем работает Фарадеевич с юннатами-

старшеклассниками — всемирного значения.

И еще я понял, что ничего в этом всем не петрю. Ничегошеньки. Как корова. Понял, что на одной удали, на этом: «Мы всё-таки парни хоть куда! Орлы! Соколы! Гангстеры, а не мальчишки!» — далеко в космос не залетишь. А чтобы петрить, нужно учиться, учиться и учиться. И тут я вспомнил, что через несколько дней — экзамен. Первый в моей жизни экзамен, о котором я из-за всех этих шпионских дел совсем забыл.

Эх, учителя-учителя, завучи и директора! Разве они понимают что-нибудь в шпионах, в героях! Разве они понимают, как же хочется задержать настоящего шпиона и стать героем?! Чтобы о тебе писали в газете, передавали по радио, а то и по телевизору. Разве они понимают!

И не отменяют они ради шпиона экзамен, нет, не отменяют! Хоть давай им сто шпионов — не отменяют ни за что! Эх, учителя-учителя!

И так мне стало тоскливо, что, если бы я был волком, то сел бы посреди хаты и завыл. Но я не был волком, я был пятиклассником. А пятиклассникам выть нельзя. «Непедагогично», как говорит Галина Сидоровна.

И я лишь тяжко-тяжко вздыхаю.

Глава 7

Экзамен. Где Ява? Что с ним?..

Перезаменная...

Волноваться я начал, наверно, еще во сне. Потому что когда проснулся, то, еще не открыв глаза, уже почувствовал, как холодно у меня под сердцем, как оно то бешено бьётся-бьётся, то замирает, неживое, а в это время от затылка по спине аж до пяток бегут-бегут ледяные пузырьки, — словно кто обливает меня холодной водой газированной, — и по всему телу гусиная кожа.

О, как бы я хотел не просыпаться сегодня! Сколько бы я дал, чтобы было уже завтра! Но нет... Я почувствовал тоже самое, когда сидел как-то, ожидая очереди, у дверей зубного врача и слушал, как противно жужжит там, в кабинете, бормашина, а мама крепко держала меня за руку, чтобы я не удрал.

Я начал паниковать уже несколько дней назад.

— Ява! — сказал я. — Ява, друг, нужно что-то делать — повторять, учить, писать шпаргалки. Пропадём же. Экзамен же. Первый в жизни. А экзаменов все боятся. Даже герои. Вот и папа говорил, что боялся. А папа мой — ты знаешь!

Но Ява панике не поддавался совсем. Лишь смеялся и говорил «да ну». Словно не экзамен нас ждал, а новогодний праздник.

— Да ну! Не дрейфь, Павлуша! Держи хвост пистолетом! Мы же не какие-нибудь там двоечники-поганцы. Мы способные ребята. Сама Галина Сидоровна говорила. И четверки, и пятерки получали. А если двойки — то больше за шалости и выбрыки всякие. Не дрейфь!

— Ага, не дрейфь! — говорил я. — Это ты просто не задумываешься, что такое экзамен. Легкомысленный ты просто. И всё!

Тогда Ява, прищутив глаз, наклонился к моему уху и, прикрыв рот ладонью, сказал:

— Не забывай, что моя мама — депутат! Это что-то тоже значит!

И он многозначительно подмигивал. А потом добавил.

— Думаешь, так легко поставит двойку? Хе! Не думай. У них же свой план по пятёркам и даже по тройкам. От них же, знаешь, как требуют эти самые... как его... инстанции. Я слышал, Галина Сидоровна моей маме жаловалась. Так вот.

«Что же, ему, и правда нечего бояться, — думал я. — Конечно, его мама — депутат. Конечно. Да и отец — передовик, рационализатор, какую-то штуковину к соломорезке придумал. И на скрипке играет. А сейчас в заграничную командировку они поехали, в Чехию. Всё село провожало. Конечно. А мои родители — обычные селяне. Не депутаты, не рационализаторы, на скрипке не играют, по заграницам не ездят...»

Мне становилось еще грустнее и страшнее. И сердце сжималось от одиночества. Всегда у нас с Явой всё было общее, всегда мы были вместе: и в горе, и в радости, и вкусненьким делились (друг без друга не ели), и оценки одинаковые получали, и из класса нас выгоняли всегда вдвоём... А теперь...

Яве — «Пожалуйста, депутатский сынок, пятерочку вам или четверочку!»

А мне...

Оставалась одна надежда — на эти инстанции, что требуют пятерок. Только эта надежда дала мне силы подняться с кровати, а то бы и не встал.

Вяло, едва двигаясь (руки одеревенели — так бывает, когда ударишься обо что-нибудь локтем), надеваю новую рубашку и праздничные штаны. Выпиваю полстакана молока (больше ничего не могу — всё в горле застревает и не спеша — еще есть время — иду к Яве.

— Ява! — зову через плетень.

Он не отзывается.

«Неужели это у меня нет сил крикнуть?»

— Ява! — кричу, как говорят, во всё горло.

Не отзывается.

Захожу во двор. Заглядываю в хату. Потом в сад, на огород, туда-сюда. Явы нет нигде. И вообще никого. Дед Варава, наверно, повел Яришку, сестричку Явину, в детсад. А где же Ява? Неужели пошел на экзамен? Без меня? Не может быть!

— Ява! Ява! Ява! Ява! Ява!...

Накричавшись до хрипоты и заглянув во дворе в самые глухие закутки, я побежал в школу.

«Может, он думает, что я сплю, решил разведать обстановку — еще же рано!».

Но и возле школы Явы не было. Всё были, весь класс (вот тебе и рано!), все, кроме Явы.

Я метнулся назад.

Я бегал по селу. Зигзагами. Из одного конца в другой.

— Явы не видели? Не видели Явы? Ява Рень не проходил тут? —

отчаянно спрашивал всех, кого встречал. Но никто не видел, никто.

Я вытягивал шею, заглядывая через плетни и заборы, и мне казалось, что она стала длинной, как у гусака.

Я подбежал к школе тогда, когда баба Маруся уже ходила по двору, звонила и, словно не доверяя колокольчику, выкрикивала:

— Звонок! Звонок! Экзамены начались! Начались экзамены! Звонок!

Я бросился к ней:

— Ой, бабушка! Не звоните еще минуточку! Не звоните! Явы нигде нет! Только одну минуточку!

Баба Маруся сокрушенно покачала головой и как-то виновато сказала:

— Не могу, милый! Уже позвонила. Поздно. Если бы раньше, сыночек. Куда же это он запропал? Вот беда! Ну, беги в класс, а то и ты не попадешь.

Пришлось идти.

В школе торжественно и празднично, как во время выборов (у нас и агитпункт, и избирательный участок всегда в школе). В коридорах постелены дорожки, на окнах цветы, стол в классе покрыт красной китайкой. Даже плакат висит в вестибюле: «Добро пожаловать!». Только музыка не играет и работает буфет с пивом, как во время выборов.

Девочки в белых фартучках, мальчики непривычно чистые и причесанные.

Заходит Галина Сидоровна, с хорошей прической, в шелковой платье — не учительница, и киноартистка. За ней движется Николай Иванович, учитель географии. Он у нас на экзамене ассистент.

Галина Сидоровна обводит взглядом класс, хмурится и спрашивает:

— А где Рень?

Я вскакиваю с места:

— Нет нигде... Не знаю... всё село оббегал... Может, подождем немного?

Галина Сидоровна еще сильнее хмурит брови:

— Задерживать экзамен нельзя. Никто нам этого не позволит.

Она стала у доски, сжимает руки — словно сейчас будет петь (видно, тоже волнуется) — и говорит:

— На первой странице каждый напишите: «Экзаменационный диктант по украинскому языку ученика (или ученицы) пятого класса...» и свою фамилию.

Мы наклоняем головы — пишем.

Экзамен начался. Ученики сопят. Перья скрипят.

Я пишу механически, даже не думая, что пишу. И мне совсем не страшно, я совсем не думаю о экзамене. Я думаю о Яве? Где он? Что с ним?

Не придти на экзамен! На первый в жизни экзамен! Это просто не укладывается в голове! Даже если твоя мама депутат... Это безумие. Он не мог этого сделать просто так. Что-то случилось... Может, что-то непоправимое?.. Но — что? Что? Вчера мы же виделись, и всё было хорошо. Расстались поздно вечером, когда пошли спать. Договорились, что я с утра зайду, чтобы идти на экзамен. «Может, он уже и неживой?» — холодею я.

Диктант закончен.

— Теперь внимательно проверьте и сдавайте, — нежно-нежно, как никогда, говорит Галина Сидоровна и улыбается нам ободряюще — поддерживает.

Сопят ученики, носами в диктант уткнувшись, — проверяют. Даже пот на лбах выступил от напряжения.

А у меня в глазах буквы прыгают, рассыпаются во все стороны — не прочту. Не могу.

Вот уже поднялся из-за парты Карафолька, понёс. Первый. Выскочка!

Вон уже и Мациевский, и Гребенючка потянулись. А я еще и до половины не дополз.

И вдруг двери распахнулись и в класс влетел Ява.

Я даже подскочил: живой!

Живой-то, но — мамочки! — как у него вид! Задышающийся, взлохмаченный, мокрый, весь в грязи с головы до ног. Следом за ним в класс вкатился такой же забрызганный Собакевич.

Галина Сидоровна покачнулась и едва не упала.

— Что это значит?

Ява молчал, опустив голову. И Собакевич, не гавкал, как в прошлый раз, не зарычал даже, а поджал хвост и спрятался за Яву.

— У тебя что-то случилось? Что произошло? Дома?

Ява молчал.

— Где ты был?

Ява наконец разжал губы:

— В плавнях.

— Что? В плавнях?! Что ты там делал?

Ява опустил голову еще ниже и тихо сказал:

— Рыбачил.

Мне показалось, что внутри у Галины Сидоровны произошёл Взрыв. И по всему классу полетели осколки.

— Что?! Что?! Вместо экзамена ты пошел рыбачить?! Ну... Ну, знаешь, это уже слишком! С-лиш-ком! Это просто... просто возмутительно!

Так вот — сдавать экзамен будешь осенью! Как двоечник. Считай, что ты получил двойку! Переэкзаменовка у тебя! Будешь теперь целое лето готовится. Это тебе наука за все твои художества. Иди! До свидания!

Еще какое-то время Ява стоял, не веря, что это случилось. Он был такой маленький-маленький и жалкий.

Эх ты, «мама — депутат»! Эх вы, «инстанции, что требуют пятерок»!

Я видел: еще миг — и Ява заплачет... У него уже закипали слёзы на глазах. Но вы не знаете, какой он гордый Разве он допусти, чтобы кто-то увидел, как он плачет?! Ява крутанулся на месте и стремглав выбежал из класса. Верный Собакевич — за ним.

— Кто сдал работу, может идти, — ледяным голосом сказала Галина Сидоровна. Но даже если бы она и не сказала этого — я не остался бы в классе, клянусь! Побежал бы за Явой.

Не думая даже дочитывать диктант, я бросил его на стол и выскочил за дверь.

Однако Явы я уже не увидел. Я бросился в одну сторону, в другую — Ява исчез, как пузырь на воде.

И снова я бегал по селу, вытянув шею, и заглядывая всюду. Но напрасно.словно раненный птенец, он забился, наверно, где-то в кусты и там в одиночестве кружками, прихлёбывая, пил своё горе. Может, и плакал, кто знает... А в такие минуты не хочется видеть никого на свете.

И вы не думаете — я искал его не для того, чтобы утешить, посочувствовать (разве утешить человека в такой момент!). Я только хотел, чтобы он видел, чтобы он знал, что я разделяю его горе и готов сделать для него всё. Я бы и слова не сказал ему, только посмотрел бы в глаза, и он бы всё понял.

Еще совсем недавно я с досадой думал о своих родителях, что они не депутаты и что это может дорого стоить мне. И вдруг — о коварная судьба людская! — не я, а Ява, депутатский сын, заработал переэкзаменовку. И где же справедливость? Ничего не разберешь в этом мире.

И еще я ломал голову себе: что же произошло? Почему он очутился в плавнях? Это чепуха, что он рыбачил, — никогда в жизни! Он бы ни за что бы не пошел на рыбалку без меня. Не поверю, хоть режьте! Наверно, это связано с этими шпионскими делами. Но когда он успел? Пошел с вечера? Без меня? Ничего не понимаю!

Долго я бродил по селу. И на речку ходил, и на выгон ходил, и на кладбище даже заглянул (мы там когда-то чижей ловили).

Потом подумал: «Может, он уже дома — обед скоро». Подошёл, выглядываю из-за плетня осторожненько (не хочется деду на глаза

попадаться, чтобы не расспрашивал). Но не видно что-то Явы.

По соседству, за высоким дощатым забором — усадьба Кныша. Да вон и сам он — сидит на крыше новой, недостроенной еще хаты, кладет черепицу.

Вышел во двор дед Варавя — с ведром, к колодцу.

Увидел деда Варавя Кныш, громко поприветствовал сверху:

— Здравствуйте, дедушка!

— Здорово! — невесело пробурчал дед.

Тогда Кныш неожиданно, с притворным сочувствием:

— Я слышал, у вас неприятность большая. мальчик ваш экзамен в школе завалил. Один на всё село. Вот же, ей-богу!

Угрюмо молчит дед Варавя. Молча крутит ворот, вытягивая из колодца ведро.

— Жалко им было, чтобы мальчишка перешел в шестой класс, — продолжает дальше Кныш. — И это специально. Знают же, что мать передовик, депутат, да ещё и в заграничной командировке, — так чтобы насолить... Вот же, ей-богу! Ой!

Кныш как-то неловко повернулся, на черепице сидя, и едва не поехал вниз по крыше.

Я с ненавистью смотрю на него и, сжав зубы, шепчу: «Упади! Упади! Упади!»

Дед Варавя молча выслушал Кныша, вытащил ведро, не говоря ни слова, похромал в хату.

Кныш начал умащиваться удобнее и вдруг всё-таки поскользнулся, поскользнулся, сорвался, прогрохотал по крыше и — хлоп! — на землю. Будто подействовало мое заклятие.

Я радостно захихикал.

Кныш, кряхтя, поднялся.

В это время из хаты (из старой, что рядом с новой) вышла Кнышиха.

— О, ты уже слез? — удивилась.

— Слез, слез! Чтобы ты так всю жизнь слезала! — сердито прохрипел Кныш, потирая отбитый зад.

Тут меня мама увидела и позвала обедать.

После обеда до самых сумерек ходил я по селу как неприкаянный. Места себя не находил.

Опустился на землю синий вечер. Засветились в хатах окна, прочерчивая черный мрак садов.

Сел я у Явиного плетня и решил — хоть до утра буду сидеть, а дождусь. А чтобы удобнее — сена у соседей через дорогу надергал из

копёнки. Но только примостился хорошенько, гляжу — Ява. Медленно-медленно, как приговоренный, движется.

Подскочил я, хотел броситься к нему, но сразу и встал. Сообразил — не до меня ему сейчас, перед ответственной «товарищеской» встречей с дедом. И не позвал Яву, не пошевелился даже, чтобы не показать, что я тут.

Склонив грешную голову, будто приговоренный на эшафот, тяжело зашел Ява на крыльцо. Скрипнул дверями. Исчез.

А я смотрю на светящее окно хаты, затаив дыхание. Мелькает в окне тени, слышен гневный голос деда Варавы — всё это значит, что «товарищеская» встреча началась сразу со счета 1:0 не в Явину пользу.

И при каждом звуке, при каждом движении теней дергаюсь и вздрагиваю, словно дед Варавя проводит этот «матч» со мной.

Глава 8

Что случилось с Явой. «Не поеду я...». «Детей бьют только империалисты...»

Утро было солнечным и блестящим, как новые ботинки.

Не утро, а песня.

Но сердце моё не пело, нет. Проснувшись, я сразу вспомнил. Я вскочил и стремглав бросился к нему — как же он там, как?

Проскочил огород и возле кривой груши остановился.

Ява сидел на завалинке, по-старчески сгорбившись над деревянными корытами, и резал картошку и свёклу для свиньи.

Я застыл, растерянный. Я не узнал его.

Разве это он, геройский Ява, тот, кто, первым из всех мальчишек прыгнул с самой верхушки старой вербы в речку? Тот, кто выпустил в клубе на лекции сыча? Кто повесил дедовы подштанники на телевизионную антенну? Нет, это не он! Это какой-то несчастный, угнетенный батрак.

О люди! Что вы сделали с моим другом!

И тут я вспомнил про свою четверку. Четверку за диктант. И мне стало так досадно, словно я предатель. Я же получил четверку на экзамене! Но разве я хоте! Я же совсем не старался. Это же случайно. О, сколько бы я сейчас дал, чтобы у меня была тройка (хотя бы тройка, я не говорю уже про единицу или двойку)! Насколько было бы мне легче! Насколько лучше я чувствовал бы себя перед Явой! Между нами не было бы такой пропасти.

Я еще вчера узнал об этой четверке. Когда бродил по селу. Мне о ней сказала Гребенючка.

По правилам оценки должны были объявлены только сегодня. Но разве ученики дождались бы? У половины класса инфаркт был бы. И когда Галина Сидоровна закрылась с ассистентом Николаем Ивановичем проверять диктанты, никто и не собирался идти домой. Толкались у школы и не расходились. Дважды Николай Иванович выходил на крыльцо покурить и говорил: «Что вы? Идите по домам. Всё равно сегодня не скажем. Завтра на родительском собрании», Потопчутся немного ученики, двинутся к воротам. Потом глядь — кто-то остался. «Эге, — думает каждый, — он останется и узнает, а я как дурак, дома сидеть буду. Нет». И назад. Сначала тихо было, потом девчонки «классы» на земле нарисовали,

запрыгали на одной ножке, мальчишки в салочки начали играть. Всё-таки время не так долго тянется. И дождались. Вышла Галина Сидоровна — как бросились! Мальчишки молчат, только сопят, а девчонки, как сороки: «Галина Сидоровна, ну скажите! Галина Сидоровна, ну пожалуйста! Галина Сидоровна, миленькая!» Учительница сначала не хотела, но разве отцепишься...

Всё это мне Гребенючка рассказал, на улице встретив. И о четверке сказала. И зачем она мою оценку запомнила? Лучше бы я не знал. Стыдно в глаза Яве смотреть. Вот он и головы не поднимет. За одну ночь исхудал как!

Я подошёл к нему.

— Здорово, Ява! — тихо поздоровался.

— Здорово, — так же тихо ответил он, не поднимая головы.

И такой у него был голос, такой голос, что у меня даже защипало глаза.

— Ява! Ну что ты, Ява?

— А что? Ничего, — еще тише сказал он.

— Да плюнь, Ява! Плюнь, я тебе говорю! Ну, подумаешь — переэкзаменовка! У миллионов людей была переэкзаменовка. И ничего. Вот у князя Владимира, говорят, тоже была переэкзаменовка в детстве. По истории... А какой ему памятник в Киеве на Владимирской горке отгрохали.

— Не ври! У Владимира не было.

— Было, было — быстро затарабанил я, обрадованный, что Ява хоть откликнулся на мою шутку. — А если и не было, то могло быть. Подумаешь! А у Пушкина точно было. Он же такое отчебучивал...

Я говорил и внимательно следил, улыбнется Ява или нет. В таких делах очень легко переборщить.

— Но как же это всё вышло?

Он только рукой махнул:

— Не спрашивай!

— А всё же?

Он вздохнул:

— Еще немного — и от меня лишь пузыри на воде остались бы...

— Да ну! Расскажи же!

Он снова вздохнул:

— Так вот выскочил я до рассвета из хаты — на минуточку... в бурьян... Еще только светать начало. Сонный, как муха, выскочил. Процентова на девяносто еще спал. Только один глаз чуть-чуть открыл, чтобы не споткнуться. Встал в бурьяне и даже и этот глаз закрыл — сплю...

И вдруг слышу голоса — за забором у Кнышей. Приглушенные, заговорщические. Сон сразу — как рукой... «Ты только смотри, чтобы никто не видел...» Это она, Кнышиха. А он: «Не учи ученого...» А она: «Ученый! А потом передачи носи, ага?». А он: «Ну не баба, а невесть что! Тюрьма народов!». А она: «Молчи, никчемный! Если бы не я...». А он: «Ничего-ничего. Я своего дождусь! Увидишь, какой я никчемный!». А она: «Иди уже! Разговорился! Соседей разбудишь!» И — скрип! Это он из калитки вышел. Вижу — идет по улице. Озирается воровато. На плече весло, мешок с чем-то, в руке серп, как сабля, поблёскивает. Растерялся я, что делать? Куда он? Ну ясно — по какому-то своему шпионскому делу! За тобой бежать — не успею. А он уже идет вон где. А экзамен? Ну. Думаю, еще только четвертый час — успею. Не простит же мне Отечество, если я такое дело прозеваю. Может, он какое-то преступление перед государством совершать будет. Не зря же его Кнышиха тюрьмой, передачами пугала. А я об экзаменах, о собственной шкуре беспокоюсь. Нет, нужно идти. Схватил весло, удочки (для конспирации) — и за ним. А тут из-под крыльца Собакевич выскочил, увязался за мной. Я сначала прогнать его хотел, а потом думаю: пусть, собака в таких делах всегда может пригодиться. Взял его с собой. На берегу переждали в кустах, пока отплывал Кныш, а затем и сами. Вот тут мне и не повезло. Как назло, все годные лодки наш дед на берег вытащил — смолил вчера. На воде лишь одна плохонькая гнилая плоскодонка, из которой мы хотели подводную лодку сделать. Некогда мне было, я на эту плоскодонку. Собакевич за мной — и айда. Плыву тихо, осторожно и всё время слежу: и чтобы Кныша из вида не потерять, и чтобы он меня не заметил (за камышами прячусь). Замечаю — плывем мы в сторону Высокого острова. Далеко уже в плавни забрались. И вдруг глядь — мамочки! В лодке воды полно, больше половины уже набралось. Пригляделся — в днище, как раз посередине, — дырка (ладонь просунуть можно), и вода оттуда прёт, даже булькает. Как из той трубы, что в арифметических задачах, помнишь, — «из одной трубы вливается, из другой — выливается». С той разницей, что у меня только вливается. Ой-ой-ой! Не пройдет и двух минут, наберется полная лодка и... Саженками до села плыть далеко. Да и кувшинки там и водоросли, ты же знаешь, — в миг руки и ноги облепляют, и иди кормить раков. Ну, да о себе я не думал. Собакевича жалко: булькнет собака и нет её. Сидит он на носу мокрый, дрожит всем телом и поглядывает на меня жалобно. Это же он виноват. Дырка была заткнута тряпкой какой-то. А Собакевич, играясь, дёргал-теребил эту тряпку и выдернул — доигрался. Я видел, как он её теребил, да не подумал... Что и говорить, поздно я спохватился. Налёг на весло, даже

задыхаюсь. О Кныше уже ну думаю, надо спасать Собакевича, приставать к какому-нибудь острову. А кругом одни камыши, земли не видно. А вода всё прибывает прибывает, уже икры мне щекочет. Я головою во все стороны бешено кручу — сушу-землю ищу. Наконец заметил островок какой-то и что есть сил к нему. Едва-едва успел. От лодки моей оставалось уже сантиметра два над водой: такая «рамочка» из бортов плыла — в середине вода и снаружи вода, и уровень её одинаковый. И я в этой «рамочке» как портрет. Еще немного — и был бы этот портрет в траурной «рамочке»... Подхватил я Собакевича на руки — и на берег.

Собственно, берега и не было. С первым же шагом я по самый пуп провалился. И сразу лужу вспомнил, в которой мы с тобой от Контрибуции прыгнули. Такая же грязница.

Не остров, а кизяк какой-то. Ни деревца, ни кустика.

Даже суши настоящей нет. Одна грязь. Но выбирать не приходилось. Спасибо и тому, что нашлось. Жить на нем не собирался. Мне только лодку вытянуть и дырку заткнуть. Может, еще, думаю, и за Кнышем успею. Посадил Собакевича на место посуше — из-за работу. Ухватился за нос лодки, начал тянуть. Ого-го! Глаза на лоб лезут. Жилы вот-вот полопаются. А лодка — словно гвоздями к дну прибитая — не с места.

Зашел я с кормы — начал пихать. Куда там! Ноги по илистому дну скользят. Я то и дело с головой ныряю — вот и всё.

Бился я, бился, нырял-нырял, воды уже полведра проглотил, а толку никакого. И такая меня злость взяла — сел я просто в воду и чуть не заплакал. Ты же меня знаешь, я никогда не плачу, а тут ну прямо сами слёзы льются.

Вот ведь в передрагу попал. Ну!

Потом плюнул, вскочил и снова — пихать и тянуть.

Солнце уже взошло, светит на полную катушку, а я, как жук-навозник, в грязище копаюсь. Из сил выбился совсем.

Снова я сел прямо в воду и снова чуть не плачу. И от слёз моих воды, кажется, еще больше воды кругом становится.

Это сколько уже времени, думаю. Экзамен уже, может, скоро. Ну, про экзамен я не думаю. Что мне этот экзамен! Главное — это государственное дело... Я тут в грязи, как червяк, копаюсь, а этот шпион, может, уже кто его знает... И я же мог его выследить. Мог же! Не простит мне страна. И сжав зубы, я снова берусь за дело. Я и вычерпывать пробовал воду из лодки, думаешь, нет! Да как же её вычерпаешь, если она тут же набирается. Это то же самое, что речку вычерпывать.

А солнце уже высоко-высоко поднялось.

Это уже ты, наверно, думаю, встал, ботинки почистил, рубашку новую надел...

Пучеглазая жаба рядом на кувшинку вылезла, смотрит на меня насмешливо, еще и квакает — будто издевается. Тут Собакевич на неё как гавкнет, она только — бултых в воду. Собакевич меня морально всё время поддерживал — гавкал, хвостом махал. Наверно, чувствовал, что я страдаю из-за него.

И вдруг мне идея в голову пришла. И почему, скажи, эти идеи приходят в голову не сразу! Такая простая, ерундовская идея — заткнуть дырку, а потом уже вычерпывать. А я же вычерпывал не заткнув. Вот балда!

Нарвал я пучок травы какой-то, что одна только и росла на острове, нащупал дырку, заткнул. Снова начал вычерпывать. О! Пошло дело! Хотя понемногу, а пошло. Сантиметр за сантиметром борта лодки над водой поднимаются. Уже и на берег тянуть можно. Кряхтя, потащил. Пошла. Есть! Теперь надо лодку наклонить — воду вылить, а то уже не черпается. Ох и тяжело было! Наконец воду вылил, дырку хорошо заткнул. Собакевича в лодку, сам за весло и ходу. Ох же и грёб — брызги до неба летели. И всё время на дырку поглядывал — не течет ли.

Солнце уже высоко, а всё-таки была надежда: может, обманывает солнце, может не начался еще экзамен? По селу бежал, сердце почти выскакивало из груди. Не обмануло солнце...

Ява вздохнул и замолк.

Я смотрел на него со всем сочувствием, на какое только был способен.

Так вот какое ему приключение выпало, что перевернуло всю его жизнь вверх тормашками! И не расскажешь же никому, не объяснишь! Потому что это наши «шпионские» дела требуют абсолютной тайны, конспирации. Когда милиционер товарищ Паляничко не поверил нам, то кто же нам поверит! У нас был один выход — иметь неопровержимые доказательства, факты, поймать на горячем. И Ява, бедолага, должен всем, и в школе, и дома, говорить одно — что пошел на рыбалку вместо экзамена. И нести за это наказание.

— Ну, а у тебя как? — спросил Ява, не смотря на меня. Эх, лучше бы не спрашивал! Чувствуя себя преступником, словно я что-то украл у него, стыдясь, я признался ему в этой несчастной четверке.

— Ну что же, я рад за тебя. Поздравляю! — сказал он. — Это хорошо. Хорошее, значит, у тебя будет настроение в лагере. Куда едешь?

Ну зачем, зачем он ранит меня в самое сердце! Мы же мечтали вместе поехать в летний лагерь к морю, в Одессу. С такими трудностями родители

доставали нам путевки, никогда мы с Явою не были на море. только в кино и по телевизору видели. А как нам хотелось на море! Синие дали, белые корабли, чайки, альбатросы летают. «Курс норд-ост»! — кричит капитан. Мы даже дважды собирались сбежать на море. И дважды нас ловили на станции. А в прошлом году была двух дневная экскурсия в Одессу. Я. как на грех, заболел. А Яву Галина Сидоровна отказалась брать (за очередной наш выбрык). И в тот же день её забрала «Скорая» в районную больницу (аппендицит). А экскурсия была через три дня. Сопровождал класс учитель рисования Анатолий Дмитриевич. Ява, воспользовавшись этим, наврал родителям, будто бы он съездил на велосипеде в больницу к Галине Сидоровне, и она сжалась и разрешила ему ехать. Провожал Яву в райцентр папа. Ява, счастливо улыбаясь, выглядывал из окна вагона. И неожиданно на перроне появилась Галина Сидоровна (сбежала из больницы, чтобы проводить класс). Ява ойкнул и присел, прячась. Папа мгновенно всё понял. А поезд уже двинулся. Папа бросился в вагон, схватил Яву и на ходу выскочил вместе с ним из поезда. Не везло нам с морем катастрофически.

И вот, когда мечта была уже практически у нас в руках, с Явой приключилась вот такое. Дед Варавя еще вчера отнёс в школу и сдал Явину путевку. Придется мне теперь ехать одному. Но разве это дело! Разве я сам почувствую все радости моря так, как мы вдвоём почувствовали бы! Да зачем же он так говорит! Радость, не разделенная с другом, — это не радость, даже не половина радости, а какая-то поганая четвертинка, какая-то мелочь.

Только я хотел ему это сказать, как из-за ограды послышался сердитый голос деда Варавы:

— Свинья голодная. Неси уже. Трепнешься там. Двоечник!

Ява вздрогнул, съёжился весь, схватил корыто и потащился в свинарник. А я поплёлся домой.

Отец сидел за столом, завтракал и, как всегда читал газету. мама на машинке строчила матроску, давно мне обещанную, специально для лагеря. Подняла голову, ласково улыбнулась (очень её порадовала моя четвёрка, она её и не ждала). Постоял я немного на пороге, потом подошёл к ней и, чувствуя холод в груди (как тогда, когда я впервые прыгнул с вербы в речку) сказал:

— Не шейте, мама... не поеду я в лагерь.

Мама молча удивленно подняла в лагерь.

— Что? — отложил газету отец.

— Не поеду в лагерь, — уже тише, но твердо повторил я.

— Как это ты не поедешь? Почему? — спросила мама.

— Расхотелось...

— Да он, понимаете, шутит, разыгрывает, — подмигнул мне отец.

— Ничего я не шучу. Не поеду. Точно.

— Может, ты заболел? — прищурился отец. — Целый год, понимаете, голову мне морочил голову со своим лагерем, а теперь, понимаете, как путёвка есть, номера выкидываешь. Это же такой, понимаете, лагерь... Как Артек. Дети, понимаете, разных народов... И ты с ними... дурень! Никогда же, понимаете, в жизни моря не видел.

— Не выдумывай, сынок, — подхватила мать. — Еще и врачаха сказала, что тебе к морю надо. Гланды у тебя и носоглотка.

— Нет никакой у меня носоглотки. Не поеду я.

— Поедешь, поедешь, — в голосе отца уже звенела сталь.

— Не поеду.

— Ты как, понимаете, с отцом разговариваешь? Ой, гляди, возьму ремень!

— Ну и берите. Только в нашей стране детей не бьют. Это во всех газетах написано. Детей бьют лишь империалисты.

— Ты... ты... ты... — вскипел отец и уже замахнулся ремнем, но тут мать бросилась на защиту, обхватила отца руками и, подталкивая, начала оттеснять его в другую комнату. Вытянув шею, отец смотрел из-за маминой спины и кричал:

— Ну, теперь, понимаете, ты таки не поедешь! Вот! — он выхватил из кармана путёвку и начал рвать. — Вот! Вот! Вместо того чтобы, понимаете, в море плескаться, будешь... будешь... Забав тебе тут, понимаете, не будет! Не будет! У меня тоже, понимаете, характер показывать! Мал ещё! У меня тоже, понимаете, есть характер. Вот! Вот!

Не путевку — сердце моё рвал он на кусочки. Беленькими бумажными клочочками тихо, беззвучно падали на пол синее море, белые корабли, чайки и альбатросы...

Слёзы закипели у меня на глазах.

— Пусть! И пусть! — закричал я и торопливо выскочил из хаты.

...Я сидел в густом, непролазном бурьяне за ригой и шмыгал носом. В носу чесалось и щипало, как после газированной воды. А в сердце была та пустая холодная бездна, когда чувствуешь, что возврата нет. Ну и пускай! Не надо мне вашего моря, ваших кораблей и альбатросов...

«Но ты же сам захотел этого?»

Да, сам. Конечно, сам. Но...

«Или, может, ты думал, что тебя будут умолять, на коленях просить,

потом побегут к деду Вараве, убедят его, что с переэкзаменовкою можно ехать в лагерь, и вы с Явою спокойненько себе поедете? Так ты думал?»

Нет. Но...

Так, наверно, чувствует себя человек, который идет за своего друга на пытки, в тюрьму или на смерть. Сложное, но благородное чувство.

И ради Явы — я готов. Вы же просто не знаете, что это за парень — Ява, как мы подружились.

Вот я вам расскажу...

Глава 9

В которой Павлуша рассказывает, как он подружился с Явою

До четвертого класс я с ним не дружил.

Он был страшно вредный.

Так я считал.

Потому что он меня при всех в лужу пихнул, после того, как я его кепку на вербу закинул. А я был в новеньких шевиотовых штанах. Мама мне только утром их в сельмаге купила. И этими новенькими штанами я в самую жидкую грязь сел. И Ганька Гребенючка так смеялась, так смеялась, что у неё даже пузырь из носа выскочил.

Я дружил с Антошкой Мациевским. Он меня малиной угощал. У них в саду много было малины, а у нас не было. А малина с молоком — вы же знаете! Я её люблю даже больше, чем вареники с вишней.

Я думал, что буду дружить с Антошкой и есть малину до самой старости. Но...

Был солнечный тёплый сентябрьский день. Мы сидели на бахче и хрумкали арбузы.

Вы были на нашей бахче? О-о! Тогда вы ничего не знаете. Такой бахчи нет нигде. Правда! Конца-края не видно. От горизонта до горизонта. И арбузов — тысячи, миллионы... И все полосатые. Как тигры. Тысячи, миллионов тигров. Я живых видел в цирке. В Киеве. Но разве это тигры? Вот дед Салимон — бахчевник наш — это тигр! Ох же и бьёт. Как влупит своей костлявой рукой по штанам — два дня чешешься. Он почему-то не любил, когда мы крали арбузы с бахчи. Он любил, чтобы мы просили. А мы не любили просить... Это не так вкусно.

Короче, мы сидели на бахче и хрумкали арбузы. Краденые. Деда не было. Не было и близко. Он пошел в сельмаг за папиросами. Мы видели. И мы были спокойны. Он там обязательно встретит какого-нибудь своего друга, деда Вараву или еще кого, и они заведут разговор об американских агрессорах или еще о чем-нибудь до самых сумерек. Это уж наверняка. Дед Салимон целыми днями от нечего делать слушал в одиночестве на бахче транзистор «Атмосфера», который купил себе в сельмаге, и его просто распирало от разных новостей.

Так вот, мы сидели и хрумкали. То есть уже и не хрумкали даже. Лишь

один Гришка Сало хрумкал — этот мог день и ночь есть. А мы все сидели и тяжело дышали.

Вот наелись арбузов! Что называется от пуза. Больше есть уже не было мочи — некуда.

Мы сидели у огромной горы арбузов — их уже собрали для отправки, завтра придут машины.

И есть нет сил, и нет сил покинуть этот арбузный рай — когда еще так повезет, чтобы деда не было, да и увезут уже завтра.

Пробовали мы в футбол арбузом играть — тяжело, ноги болят.

Пробовали в «войну». Выложили из арбузов на земле военный объект — вражескую укрепленную линию. Взяли в руки по арбузу — это бомбы, — подняли над головою — и ууу-у!.. Летят наши штурмовики-бомбардировщики. Подлетают — шмяк! шмяк! Лопаются полосатые бомбы, летят во все стороны осколки и шрапнель — черные скользкие зерна, льётся красная арбузная кровь...

Побомбили несколько минут, глянули — даже самим стало страшно и совестно. Красно-бело-зеленая каша на земле.

— Э, ребята! Это уже свинство. Так только фашисты делают!

— И правда! Давайте не будем!

Снова сели, сопим.

Посмотрел тогда Степан Карафолька на гору арбузов да и говорит:

— Но и здоровенная! Настоящая пирамида египетская. — И вдруг подскочил. — Ребята! А давайте играть в фараона и египетскую пирамиду.

— А? Что? Кто? — не поняли мы.

Степана мы не любили. Он каждый день чистил зубы, делал зарядку и вообще был свинья. Словом, он был то, что называется образцовый ученик: учился на одни пятерки, вел себя в школе безупречно, не озорничал, не бил окон, не макал косу девочки, что сидит впереди, в чернила, не поджигал на уроке «лягушку» из киноплёнки... И этим очень всех нас подводил.

Потому что всегда:

— А вот Карафолька, видишь...

— А почему Карафолька...

— А посмотри на Карафольку...

И — хлоп! хлоп! хлоп!

«А чтобы у тебя, Карафолька, чирей на носу выскочил!» — всегда думалось в такие минуты.

Но иногда мы Карафольке прощали за то, что, на наш взгляд, он очень много знал. Потому что читал день и ночь. И был для нас этакой ходячей энциклопедией. И вот сейчас.

— А... что это такое — египетские пирамиды? — жуя, спросил Гришка Сало.

— Не знаешь, барахольщик? Это такие гробницы здоровущие в Египте. В них египетских царей — фараонов — хоронили. Много столетий назад. До сих пор, стоят, как новенькие, и туристы со всего мира приезжают на них посмотреть.

— Ага, это в пятом классе проходят, я в учебнике брата видел, — подтвердил Антошка.

— А я по телевизору в киножурнале, — сказал Васька Деркач.

— Ну так что? — спросил я. — А как в это играть?

— Как? Хм! — презрительно хмыкнул Степан. — Выберем среди нас фараона. Он помрет, и мы его похороним. И пирамиду сделаем. Из арбузов.

— А что — это класс! — у Явы загорелись глаза. — Интересно! Давай!

— Ребята! Да вы что? Тьфу! — сказал я. — На черта нам в этого вонючего фараона! В мертвяка! Очень весело — в похороны играть! Ха-ха!.. Давайте лучше в пограничника и шпиона. Я согласен быть шпионом!

— Старик! Договорились — всё! — решительно сказал Ява. — Давайте считаться, кому фараоном быть. Ну! Сетка-ветка, дуб, дубки, появились козаки! Сабельками раз — выйди князь! То есть... фараон.

Я! Так и знал. Чужало мое сердце.

— Старик! По-честному! — сказал Карафолька. Это мы от киевских охотников научились говорить друг другу «Старик».

Я вздохнул. Я был страшно невезучий. Во что бы мы не играли, мне всегда выпадало быть или разбойником, или преступником, или шпионом, или фашистом. Одним словом, врагом. Я уже не помню даже, когда я был нашим. А я так любил наших!.. И всегда был врагом.

— Старик! Ничего, не волнуйся! Тебе в любви везти будет! Ей-богу! Есть такая примета! — успокаивали меня ребята. — Вон Гребенючка на тебя засматривается.

— Подавитесь своей любовью! Плевал я на любовь! Триста лет! — с ненавистью цедил я сквозь зубы и плёлся занимать свою вражескую позицию.

И когда Карафолька только произнес слово про эту египетскую пирамиду, я уже не сомневался, что фараоном буду именно я. И не ошибся...

— Ну, что делать? — мрачно спросил я.

— Значит, так, — быстро заговорил Карафолька. — Ты известный, знаменитый, могущественный египетский фараон. какой хочешь —

выбирай. Хеопс... Тутанхамон, Аменхотеп...

— Аменхотеп, — безразлично сказал я.

— Прекрасно. О великий и мудрый фараон Аменхотеп. — поднял руки к солнцу Карафолька. — Ты завоевал много земель, ты покорил много народов, ты вписал своё имя в историю Древнего мира! Но неумолимая смерть подстерегла тебя, и вот ты умираешь. Плачьте, рабы, великий Аменхотеп умирает!

Ребята завyli, как шакалы.

— Ну, давай-давай — ложись и умирай, — под аккомпанемент этого воя сказал Карафолька.

Я лёг.

— Прощайся и... — махнул рукой Карафолька.

— Прощайте, — мрачно произнес я. — Не поминайте лихом. Извините, если, что не так. Кланяйтесь маме, папе, Галине Сидоровне и всем нашим.

— Обойдешься! Помирай, помирай быстрее! — нетерпеливо перебил Карафолька.

Я закрыл глаза и громко вздохнул — испустил дух.

— О люди! О народы! Великий Аменхотеп скончался! О горе-горе! — так отчаянно заверещал Карафолька, что мне самому стало страшно и жалко себя.

— Но имя его будет известно в веках! И пирамида великого Аменхотепа сохранит для поколений память о нём. За работу, жалкие рабы... За работу!

И ребята засуетились, обкладывая меня арбузами. Через несколько минут я почувствовал, что на грудь мне наваливается огромная тяжесть и мне уже нечем дышать.

— Эй! — закричал я. — Давит! Эй! Так я и вправду помру. Эй!

— Цыц! — гаркнул Карафолька. — Не разговаривать. Мертвец называется! Убивать надо таких мертвецов!

И положил мне большой арбуз прямо на лицо. Я только пискнул.

— Э нет, парни, так он и вправду окочурится, — слышу вдруг голос Явы. — Так нельзя.

И арбуз с моего лица откатился.

— А что же? Как же тогда? Не выйдет пирамида, — слышались голоса.

— Как не выйдет! Выйдет! — закричал Карафолька. — Я же забыл совсем. Фараонов хоронили сидя, а то и стоя. Вставай! Вставай, Аменхотеп! Только молчи — ты же мертвый!

Я встал, и работа снова закипела.

Теперь было легче. Хоть и давило на ребра, но дышать можно. Я стоял с закрытыми глазами, а ребята обкладывали меня арбузами. Вскоре вокруг меня уже была уже настоящая пирамида, из которой торчала только моя голова, что, как говорил потом Ява, тоже была похожа на арбуз.

Карафолька был очень доволен и весело напевал похоронный марш:

— Тай-та-та-ра-та-рай, та-та-та-ра-рай-там-та-рам!

И вдруг прозвучал пронзительный крик Антошки:

— Ребята! Бежим! Дед!

И всё кинулись врассыпную. Это было так неожиданно, что я даже не сразу испугался. И только когда от ребят осталась одна пыль, я похолодел.

Я стоял, обложенный арбузами, не в состоянии двинуть ни ногой, ни рукой и смотрел, как ко мне, размахивая палкой, бежал дед Салимон.

— Ребята! — без всякой надежды закричал я. — Куда вы? А я? Рабы! Гады! Аменхотепа бросили! Антошка! Друг!

Но они уже и услышать не могли.

Ну всё! Погибель! Сейчас дед подбежит, увидит, что мы наделали, увидит эту гору разбитых арбузов, размахнется и и палкой мне по кумполу. И будет на один разбитый арбуз больше. Будет мне гробница... Пирамида.

Я уже видел злое лицо деда и слышал, как он сопит. Ближе, ближе, ближе...

И тут, как из-под земли, появился Ява. Дед уже был совсем близко, уже взмахнул палкой. Ява подскочил ко мне, схватил арбуз, что лежал возле самой моей щеки, и метнул в деда. Дед выпустил из рук палку и едва успел поймать арбуз. Он же был бахчевник, этот Салимон, и не мог допустить, чтобы арбуз упал на землю и разбился. А Ява уже схватил другой арбуз и снова кинул. И снова дед поймал. Это было прямо как в цирке, как в кино. Ява кидал, дед ловил и клал на землю. Ява кидал, дед ловил и клал на землю.

Я понемногу освобождался. Вот уже и я схватил арбуз и кинул. Теперь мы кидали с Явой вдвоём, а дед Салимон ловил. Ловил, задыхаясь и приговаривая:

— Ох, негодники!

— Ох, безобразники!

— Ох, черти!

Через несколько минут мы с Явой уже во весь дух мчались по бахче. Теперь догоняй, дедушка! Ищи ветра в поле.

Я бежал рядом с Явой нога в ногу, словно мы были одним целым... И мне казалось, что сердца наши тоже бьются как одно сердце.

Мне было очень хорошо!

Наверно, такое чувствуют настоящие друзья-солдаты, когда плечом к плечу идут в атаку.

Вот так бы бежал и бежал на край света. нет ничего в мире лучше дружбы.

...На следующий день наша с Явой дружба была еще сильнее скреплена. Так сказать, кровью. Потому что дед Салимон поделился своими впечатлениями о фараоновской пирамиде с нашими родителями. И родители наши сделали нам четыреста двадцать восьмое серьезное предупреждение по тому месту, о котором не принято при девочках говорить. Делая предупреждения, родители приговаривали:

— А вот Карафолька! Карафолька не такой! Карафольки там не было? А? Не было же?

Мы сжимали зубы и молчали. Мы никого не выдали. Никого! Пусть говорят о Карафольке! Пусть! А я всё равно знал, кто такой Карафолька, кто такой Антошка, а кто такой — Ява!

Но разве я мог, скажите, поехать один в лагерь к морю после этого?! Ни за что. Никогда в жизни!

Дружба! Великое это слово — дружба! Может, самое великое из всех человеческих.

Ради дружбы люди идут на пытки, садятся в тюрьму, даже жизнь отдают...

Глава 10

Мы — крепостные. Приезд Явиных родителей. Пистолеты

Вы не думаете, я папу очень люблю, но он у нас такой упрямый, или, как он сам о себе говорит, «абсолютно принципиальный» человек. Как сказал, и пусть тут камни с неба падают, а так и будет. Сказал — как отрезал.

И если он пообещал мне, что гуляний не будет, то не сомневайтесь — некогда было и головы поднять.

С самого утра он задавал мне такую «нагрузочку» на день, что хороший батрак не справился бы. И я трудился, даже дым шёл.

Мама меня, конечно, жалела и, когда отца не было, всегда спешила сказать: «Отдохни, сынок, погуляй!». Но гордость моя не позволяла её слушаться. Я знал, что, если бы папа узнал, он бы лишь поморщился презрительно и сказал: «Маменькин сынок несчастный», А это было обиднее, чем сто подзатыльников.

И я трудился.

Я не говорю уже, что делал то, что нужно было делать: чистил свинарник, рубил дрова, работал в саду и на огороде.

Но больше всего я выполнял работу, на мой взгляд, никому не нужную, работу, которую отец просто выдумывал для меня. Например, копал большую яму для помоев и мусора. Зачем? Всю жизнь выливала мать помои в бурьян за ригой — и ничего. А тут, видишь, специальная яма понадобилась.

Или — забор из штакетника на границе нашего огорода с соседским. Никогда там забора не было. Говорит, чтобы куры в соседский огород не лазили. Смех! Лазили и будут лазить — на то они и куры. И никакие им дощечки не помешают.

Я знаю, просто это называется трудовое воспитание.

И почему эти взрослые так любят воспитывать! Только хлопот прибавляют. Разве я сам не понимаю, что плохо, а что хорошо, что надо делать, а что не следует! Прекрасно понимаю.

Вот я подслушал нечаянно разговор отца с матерью. Мама просила, что он уже дал мне отдых: «Ты хочешь, чтобы он уже совсем... Посмотри на кого он похож!» Но отец был непреклонен: «Ничего-ничего, это ему

только на пользу. А ты что хочешь, чтобы он лодырем вырос, босяком, пьяницей каким-нибудь, алкоголиком!».

Пьяницей! Сказали, Да пускай она стгорит синим пламенем, эта водка! Чтобы я пил её! Они думают, что я не пробовал! Мы с Явою как-то попробовали. А как же! Бр-р! Тьфу! Рыбий жир и то вкуснее.

Честно говоря, по-моему, взрослым она тоже не по вкусу (как они морщатся, когда пьют!). Просто эти взрослые — такие же, как и дети: им неудобно друг перед другом, они хотят показать, что они взрослые, ну и...

С Явою мы виделись мало: не было времени.

Вот только подойдем к плетню, что разделяет наши дворы, — он с одной стороны, я с другой. Пожалуемся друг другу.

— Настоящим батраком стал, — скажет Ява. — Крепостным. Как Тарас Шевченко. Только стихи писать — «Мне тринадцатый пошёл...»

— А я? Хуже раба египетского. Спины не разгибаю. Поясница уже который день ломит.

Повздыхаем мы да и разойдёмся. О футболе, салочках и говорить нечего. Забыли, как это и делается.

От всего белого света изолированы мы были. В том мире где-то там Фарадеевич с юннатами выращивал фантастический космический глобулус. Уже вскоре должны быть результаты. Где-то там занимались своими загадочными темными делами Кныш и Бурмило.

А мы ничего не знали и не видели. Потому что не могли и носа со двора высунуть. А как ты будешь ловить шпионов, сидя дома? Никак.

Один лишь раз Ява прибежал ко мне запыхавшийся, взволнованный, красный:

— Айда! Быстрее!

— Что такое?

— Только что — сам видел и слышал — Кнышиха из хаты вышла. Кнышу сказала: «А ну пойдика на улицу выгляни, нет ли кого, и калитку замкни. А то еще увидят эти нищие, будет тогда». И Кныш пошел, и выглянул, и замкнул. И они пошли в хату, и закрылись...

— Ну и что?

— Вот тебе и «что»! Голова! Может, они шпионские деньги в золу прятать будут или по радио передавать будут что-нибудь... шпионское...

— Ну-у?!

— Вот тебе и «ну»! Пошли, перелезем через Великую китайскую, а там на орех, что у хаты, а с него в окно всё будет видно.

— Пошли!

Через минуту мы уже карабкались на огромный забор, что отделял

Явин двор от двора Кнышей. Этот необозримый трехметровый забор мы назвали Великой китайской. И знаете, из-за чего возвели эту стену Кныши? Из-за груш-гнилушек. Как раз на границе росла у Кнышей дикая груша и одна ветка протянулась на территорию Реней. А с этой ветки груши, ясное дело, падали к Реням. Их, конечно, отдавали, но иногда свинья какую-нибудь падалицу и сжует — разве уследишь. Вот из-за этих гнилушек, что и слова доброго не заслуживает, Кныши и построили Великую китайскую стену. А груша, как на зло, высохла.

Не любили мы Кнышей. Независимо от их шпионской деятельности. Просто так не любили. Несимпатичные они какие-то были. Кнышиха — широкоплечая, костлявая, хоть и не толстая, но какая-то квадратная. Глаза маленькие, как дырочки в пуговках, а нос, или, как говорил тракторист Гриша Чучеренко, «румпель», огромный и похож на топор. Если бы сам не видел, я бы даже не поверил, что у женщины может быть такой здоровенный носяра.

У Кныша, наоборот, нос был маленький, как кукиш. Зато страшно волосатый был Кныш. Руки, ноги, плечи, грудь, спина — всё-всё было покрыто густым рыжим волосом, жестким, как проволока. Даже в ушах были у него были волосы, и торчали они, как клочья (странно было, как доходили до Кныша звуки, не запутываясь в этих клочьях). И из носа торчали тоже, и на переносице росли, и даже на кончике носа.

Кроме того, что волосатый, был Кныш еще какой-то мокрый — как сырая стена в погребе. Руки всегда мокрые, шея мокрая, лоб мокрый. как-то он взял меня за плечо своей мокрой и холодной, как у мертвеца рукой, и я даже вздрогнул. Бр-р!

И еще — когда Кныш смеялся, нос у него дёргался и кожа на лбу дёргалась (не морщилась, а именно дёргалась). И это было очень неприятно. Хотелось отвернуться и не смотреть. Жили Кныши вдвоём, детей у них не было. И родственников, по-моему, тоже.

В колхозе работал только Кныш. Кнышиха считалась очень больной. Болезнь у неё была неизлечимая и таинственная. Она шепотом рассказывала о ней женщинам, закатывая глаза и приговаривая: «Ох, какая же я больная, больная!»

Между тем неизлечимая болезнь не мешала ей каждый день таскать на базар тяжеленные корзины, а по праздникам выпивать бутылку «денатурчику». «Денатурчик» — так ласково называли Кныши страшный синий-синий спирт-денатурат, на бутылке которого был нарисован череп с костями и написано: «Пить нельзя. Яд». Кныши не обращали внимания на эту надпись. Они что-то там такое делали с «денатурчиком» и пили. Кныш

был в этом деле тонким специалистом.

Он говорил:

— Житомирский денатурчик — это настоящая гадость, отравка, а вот черниговский — это, я вам скажу — здоровье! Украинский женьшень! Пей — до ста лет проживешь.

И Кнышиха, и особенно Кныш любили выпить.

Кныш выпивал почти каждый день. А на праздники, то есть на Новый год, на Рождество, на Первое мая, на Пасху, на день физкультурника, на церковные праздники, на Крещение и т. д. (Кныши не пропускали ни одного ни церковного, ни государственного праздника), они выпивали семейно, вдвоём.

В такой день с утра Кнышиха выходила за ворота и, в зависимости от праздника, или крестилась, или торжественно пела «Вставай, проклятьем заклейменный, Весь мир голодных и рабов». (один куплет с припевом «Это есть наш последний и решительный бой»).

Потом Кнышиха возвращалась во двор, где стоял под вишней уже накрытый стол, и начинался праздничный завтрак. Через час из-за Великой китайской стены уже раздавалось:

Ой служил я у па-а-на
Да за первое ле-т-то
Заслужил я у па-а-ана
Курочку за лето.

А та курка-щербатурка
По садочку хо-о-одит
да ход-ит,
Цыпляточек водит
да во-о-дит...

Это пели гнусавыми голосами подвыпившие Кныши. После рюмки их всегда тянуло на пение.

Пели они долго, часа два или три. Пели украинские народные, и современные, и песни из кинофильмов, и даже танго.

А потом уже до самого вечера Кныши на два голоса оглушительно, с перебоями храпели в саду, и благодаря «денатурчику» от них пахло так, словно это не люди спали, а два трактора.

Праздновали Кныши всегда только вдвоём. Никого к себе не

приглашали. К ним никто не ходил, и они ни к кому. Очень были скупые и боялись, чтобы никто не увидел, что у них дома есть. На людях всё время приbedнялись.

— Да я же совсем нищий! — говорил Кныш. — С хлеба на воду перебиваемся. Даже на зиму ничего не припас.

А между тем Кнышиха каждое утро, отправляясь на базар, даже сгибалась под тяжестью корзин. И бутылки с молоком высывались из этих корзин, как пушки из танковых башен. Корова у Кнышихи была одна из лучших в селе.

Я как-то слышал, как бабы говорили об этой корове:

— Ох же и молоко у этой коровы! Ну как смалец! Хоть ножом режь.

— Эге. Так что же ты хочешь, если она её хлебом кормит. Каждый день тащит из города мешок. А в том мешке, думаешь, что? Одни булки. Если бы я кормила свою Лиску так, она сметаной доиться будет.

— Ну да! А на базаре, я видела, продаёт жидкое, почти синее. Наполовину разбавляет, не меньше.

— Куда это милиция смотрит!

А как-то вечером, когда уже стемнело, приезжали к ним двое каких-то типов на мотоцикле с коляской, погрузили что-то в коляску и сразу же уехали. И потом еще дважды приезжали, и снова ночью.

А однажды возле чайной Кныш, что в стельку напился, разглагольствовал в обществе пьяниц...

— Не боюсь я вашего Шапки... Какой он Шапка! Штаны он, а не Шапка. И не голова, а это самое... Он у меня вот тут вот. — Кныш показал сжатый кулак. — Я уже написал. кому следует. Скоро вашему Шапке дадут по шапке... Хи-хи-хи!

Иван Иванович Шапка, председатель нашего колхоза, был очень хороший хозяин, и все его у нас любили. Все, кроме бездельников, лодырей и пьяниц, потому что он им спуска не давал. И Кныш всё время писал на Шапку письма и жалобы в разные инстанции. При чём писал всегда так, чтобы люди видели. Открывал ворота, выносил во двор стол, садился и, как школьник, наклонив голову и высунув язык, карябал что-то на бумаге.

— О, снова пишет какую-то собаку, — насмешливо говорил дед Варава.

Кнышевы жалобы, конечно, председателю проблем не создавали. Но у людей темных вызывали к Кнышу уважение и даже опасение — если человек пишет, значит силу имеет. Когда-то, говорят, Кныша из-за этих писем даже умные люди боялись. Это еще больше делало его в наших глазах таинственным и загадочным.

Поверить в то, что он шпион, было не очень трудно.

Мы перелезли через забор, осторожненько, пригибаясь подошли к ореху, забрались — и вот уже внимательно смотрим сквозь окно в Кнышеву хату. В хате темновато, и мы не сразу рассмотрим, что там происходит. Наконец увидели, что Кныш и Кнышиха сидят у стола с ложками в руках и, воровски оглядываясь на окно, что-то едят. Мы внимательно приглядывались и удивленно посмотрели друг на друга. Кныши ели... торт. Бисквитный городской торт с цукатами и с кремовыми и шоколадными розочками. Ели торт ложками, как борщ или кашу. Если тайком спрятавшись от людей, как преступники, ели торопясь, жадно, наверно, громко чавкая (окно было закрыто, и мы не слышали), а может, даже похрюкивая. Рты у обоих были измазаны кремом, а у Кнышихи крем был и на «румпеле».

Вот Кныш подцепил ложкой большую центральную розу, что красовалась посреди торта, и потянул ко рту. Но Кнышиха что-то сердито проворчала ему, ловко перехватила розу с его ложки своей ложкой — и раз — к себе в рот.

Мы снова переглянулись. Кино!

— Ну всё! Ясно! — сказал Ява. — Шпионы! Наши люди торты ложками не едят.

Я не стал возражать, хотя это доказательство шпионской деятельности не казалось мне достаточно убедительным.

Поскольку смотреть на эту картину было противно, мы спустились с ореха и полезли домой.

...И снова потянулись «трудовые будни».

Больше контактов с Кнышами, а тем более с Бурмилой не было.

Лето проходило. Нам даже начало казаться уже, что о Кныше и Бурмиле мы всё выдумали, что не было ни того таинственного разговора («Подарочек от немцев...», «Двадцать железных...», «Вермахт щедрый...»), ни акваланга, ни подозрительного поведения, ничего...

— Нет, никакие они не шпионы, — сказал я. — Помнишь, как Бурмило аистенка раненного подобрал и выходил, выпустив потом. Шпион бы так тебя сделал? Никогда!

Ява сначала собирался возражать, а потом просто переводил разговор на другое.

Один раз Ява встретил меня у плетня особенно мрачный и невеселый.

— Завтра приезжают родители, — вздохнул он. — Просто хоть с моста в воду. Мать как узнает... Правда, дед пообещал в первый день не говорить. «И не из-за тебя, — говорит, — двоичник, а из-за твоей матери. Не хочется

в первый день ей настроение портить. Столько, — говорит, — не была дома, так скучала, а тут сынок такой подарочек приготовил. Возьму, — говорит, — грех на душу, совру, что сдал ты экзамен на тройку. Пусть уж на второй день...» Так что, у меня только один день спокойной жизни.

А потом будет такой «вермахт», что... ты же мою мать знаешь.

Явина мать была такая решительная женщина. В отличии от моих родителей, у Явы всё наоборот: папа был добряк добряком (муху не обидит, никогда голоса не повышает, только не скрипке играл), а мать — гром и молния. Словом, папа был мамой, а мама была папой. И Явину тревогу я понимал.

— Ничего, — успокаивал я своего друга, — как-нибудь обойдется. Не убьёт же она тебя.

— До смерти, может, и не убьёт. А инвалидом сделать может. Знаешь, какая у неё рука! Как у Жаботинского^[1]!

— А ты потренируйся падать. Чуть что — сразу падай. Будто тебе плохо.

— Мне и так будет плохо. Без «будто». Не волнуйся.

Что и говорить, сочувствовал я другу всем сердцем, всей душой, но помочь ничем не мог. Оставалось только уповать на судьбу и на счастливый случай. Может, как —нибудь пронесет.

И вот Явины родители приехали. Радостного гвалта и суеты — полный двор. Калитка только — скрип-скрип. Двери хаты не закрываются. Родственники, соседи, знакомые... Еще бы! Из-за границы приехали! Интересно же! А что? А как? А где? А когда? А какое? А почём?..

В саду целый день стоял стол с едой и напитками: одни вставали, другие садились.

И подарков Явины родители привезли чуть не всему селу. Подарки в основном мелкие, на манер пуговицы — сувениры называются. Но что вы хотите: если бы столько больших подарков — в две телеги не уложишь.

И мне подарок достался. Нам с Явой обоим было подарено по пистолету. Но какому пистолету! По чешскому заграничному пистолету, который стреляет водой. И как стреляет! Нажимаешь на крючок и тоненькая-тоненькая струйка брызгает метров на десять. Классно! Вот пистолет так пистолет! Красота! Сила!

Через пятнадцать минут, после того как нам были подарены пистолеты, мы их чуть не потеряли навсегда.

Ну, вы же понимаете, было бы смешно, если бы мы сразу не начали стрелять. Кто бы это мог такое? Зачем тогда эти пистолеты? Зачем их вообще дарить?

Конечно же, мы сразу...

Бровка на мушку — бац!

«Гав-гав-гав!» — Бровка хвост поджал — и в будку.

Кошка рыжая сидит на солнце, умывается.

Бац!

«Мяяу!» — И кошка уже на груше.

Курица роется.

Бац!

«Ко-ко-ко-ко-ко!» — и нет курицы — где-то уже на огороде.

А тут дед Салимон идет...

Ну, случайно же, честное слово, случайно крючок нажался.

Бац! — деду Салимону прямо по лысине.

— А чтобы вы лопнули, негодники! Я вам побрызгаю! Я вам!.. Я вам!..

Через несколько минут мы тёрли свои красные уши уже на пастбище.

Пистолеты нам были оставлены при одном условии — только стрелять по неживым целям. Ну и настрелялись мы на пастбище, что называется, вволю. А уж и завидовали нам ребята — и не говорите!

Только и слышалось!

— Дай хоть посмотреть!

— Дай хоть глянуть!

— Дай поддержать!

— Можно я стрельну?

— Можно я попробую?

— А я? А Я?

— Вот это да!

— Ох ты!

— Ох же и бьёт!

— Сила!

— Красота!

— Вещь!

Скажем честно, мы нехотя давали не только стрелять, но и поддержать.

Можно отдать новые штаны, ботинки, рубашку снять, всё, что хочешь, но выпускать из рук пистолет в первый день — не под силу. Как же его дашь, когда сам еще не настрелялся!

Ну и постреляли мы в ребят — ну и постреляли! Замечательно! Ох и отыгрался я за все свои страдания, которые мне пришлось претерпеть, будучи «Шпионом», «разбойником», и вообще «врагом».

Мы какое-то время колебались, помня условие стрелять «только по неживым целям». Но потом решили, что и Степан Карафолька, и Антошка

Мациевский, и Гришка Сало, и даже Васька Деркач по характеру своему совершенные трупы и поэтому целиком подпадают под понятие «неживые цели».

Через час все были мокрые как дождь.

Сначала они к этому относились спокойно — и даже подзуживали:

— Ну! А ну, попади на таком расстоянии. Вот и не попадешь, не попадешь! А ну!

А потом, когда мы уж очень точно попадали, начали просить:

— Да ну, перестаньте!

— Да хватит уже.

— Хватит! Ну!

А Карафолька, когда Ява очень ловко попал ему прямо в нос, решил обидеться и закричал:

— Эй, ты, переэкзаменовщик! Что-то очень уж ты разбрызгался! Шёл бы лучшие уроки учить. А то на второй год останешься. Вот скажу я твоей матери!

Свинья он, Карафолька, долгоносик, не тонкий, не деликатный человек. Разве можно человеку напоминать о таких вещах, как переэкзаменовка? Суслик!

Ява повернулся и пошел с пастбища. Я плюнул в сторону Карафольки и пошел за ним. Нет, не дали Яве забыть о переэкзаменовке, о том, что его ждет.

Но судьба решила всё-таки оттянуть час расплаты. На другой день рано утром Явины родители поехали на несколько дней в Киев отчитываться о своей зарубежной командировке на Выставке достижений народного хозяйства. И дед Варава не успел рассказать о переэкзаменовке.

Но однако настроение у Явы было скверное, подавленное.

— Собака я, барахольщик, — ругал он себя. — Мать меня целует: «Сыночек. сыночек!» — подарки мне, а я... Знала бы она, какой я. Лучше бы сразу... Что будет! Что будет! Эх, если бы выследить, пока матери нет, этих шпионов! Всё было бы хорошо. Можно было бы рассказать правду. Как я тонул и вообще... Вот если бы выследить.

Я невнятно мямлил:

— Мда... конечно... но...

Я не верил в реальность этого дела.

Но на другой день после отъезда Явиных родителей в Киев он прибежал ко мне бледный, как сметана, едва дыша.

— Быстрее, быстрее... быстрее.

Я уже думал — или пожар, или землетрясение, или футбол по

телевизору показывают. Я ведро вытягивал из колодца. И с перепугу упустил ведро, когда он прибежал.

— Тьфу! Что такое?

— Пойдем быстрее! Они идут в плавни. Прямо сейчас. Сам слышал разговор. Кныш говорит: «Что-то давненько дела нет. Присохло. Чепуха получается». А Бурмило: «Да-да, пора кончать, пойдем сегодня, я не виноват, что простудился. Заболел...» А Кныш: «Тогда я к тебе зайду через полчаса и пойдем...». Быстрее, Павлуша! Я чувствую, сегодня что-то будет! Пошли, ну!

Он говорил так горячо и убедительно, что мое ведро, кажется, само выскочило, наполовину расплёсканное, из колодца, вмиг очутилось на крыльце, а мы с Явой, словно выпущенные из пушки, мчались по улице.

Глава 11

Трагедия в кукурузе. И кто бы, вы думаете, нас спас?

Нам не пришлось долго сидеть в кустах у хаты Бурмилы. Не прошло и несколько минут, как из калитки вышел Кныш, а за ним Бурмило с мешком за плечами.

Бурмилова хата стояла за школой, на краю села. Сразу за ней начинался огромный массив кукурузы. Вдоль массива извивалась полевая дорога.

Кныш и Бурмило пошли по дороге, а мы с Явою вдоль дороги, скрываясь в кукурузе. Но не прошли мы и ста метров, как Кныш вдруг остановился и, слышим, говорит:

— Слушай, кажется, за нами какие-то пацаны увязались.

— Где? Чтоб им пусто было! — удивленно пробасил Бурмило.

— Да вот там, в кукурузе.

— А ну идем напрямик через массив. Заодно и проверим.

Мы с Явою шлепнулись на землю и, словно зайцы, на четвереньках драпанули в глубь кукурузы.

Жесткие кукурузные листья предательски шуршали вокруг. И не поймешь, или от ветра листья шуршат, или это кто-то идет. Казалось Кныш и Бурмило уже прямо над головой. Вот-вот наступят и раздавят тебя, как козявку.

Чувствуя в животе противное «Ой-ой-йой», я бежал на четвереньках всё дальше и дальше. И когда уже совсем ободрал колени, остановился и припал, тяжело дыша, к земле. Больше не могу! Пусть наступают!

Но никто на меня не наступал.

Я полежал немного, прислушиваясь.

Ш-шу-шу... шрх-хр... шшшшу-у... шу.

Всё время, не переставая, шуршит кукуруза.

И не слышно в этом шуршании ни Кныша, ни Бурмилы, ни... моего друга Явы.

А чтобы увидеть — и думать нечего. Дальше своего носа ничего не вижу — сплошное сплетение кукурузных листьев. Ох и густая же кукуруза, гуще всяких джунглей.

Полежал я еще немного, уши наострив. Ничего. Ничегошеньки. Где

же Ява? Мы же вроде рядом бежали.

— Ява! — зову я едва слышно.

Ни шепотка в ответ.

— Ява! — зову я немного громче.

Нет ответа.

Бросился я в одну сторону, в другую.

— Ява! — кричу я во весь голос. Черт его побери! Кныша и Бурмилу мы всё равно уже упустили — это факт. Он уже, наверно, в плавнях.

— Ява! — ору. — Ява! Ау! Где ты?

— Цыц! — слышу наконец где-то далеко исполненный таинственностью голос Явы. — Тише!

— Да что «тише»! — кричу я. — Их давно уже нет! А я ничего не вижу — такая густота! Не знаю в какую сторону идти. ползи сюда!

Ява немного помолчал, потом зовет:

— Ползи ты сюда!

Двинулся на четвереньках я на Явин голос. Полз — полз — нет Явы.

— Ява! — кричу наконец.

— Ау! — слышится где-то далеко справа (а раньше было слева).

— Ява! — рассерженно кричу я. — Куда ты пополз, чтоб тебе! Не туда ползешь!

— Это ты, — кричит он, — не туда ползешь! Я ползу правильно.

— Да ну тебя! Ползи сюда!

— Это ты сюда ползи.

Вот так, переключаясь, мы начали зигзагами подползать друг к другу. наконец я с разгону прямо в носом в Явины штаны уткнулся.

— Тьфу!

— Еще немного и мы бы разминулись.

— Раскричался! — цедит сквозь зубы Ява. — С тобой только тараканов на печи ловить, а не шпионов!

— Какой храбрый! Что же ты драпанул? Скажи спасибо, что они нас не раздавили, как клопов...

Ява сразу вскочил:

— Пошли! пошли быстрее на дорогу. Может, еще и успеем. Во всяком случае, я знаю, где в плавнях искать.

И Ява бодро рванул вперед. Я — за ним. Не обращая внимания на боль в ногах, мы шли очень быстро, почти бежали. Кукурузные листья хлестали нас по щекам, лезли в глаза, царапали руки. Идти становилось всё труднее.

— Ява, — сказал я, тяжело дыша, — что-то мы очень долго идем.

Ява молчал.

— Ява, — спросил я, еле дыша, — где дорога?

Ява молчал.

— Ява, — сказал я, почти задыхаясь, — мы не туда идем.

Ява остановился.

— Давай отдохнем.

Мы сели на землю.

— Ты знаешь, какие эти кукурузные массивы, на сколько они километров тянутся? — сказал Ява. — Если не туда пойти, можно два дня идти и не выйдешь. Совсем заблудиться можно.

— Что?! Что ты мелешь? — сказал я, чувствуя, что у меня вместо сердца как будто студенистый свиной холодец. — Кукуруза — не лес и не плавни, в кукурузе нельзя заблудиться. Вставай, пошли.

Мы уже не думали о Кныше и Бурмиле, мы думали только о том, чтобы выбраться из этого кошмарного плена.

Через полчаса мы снова сели отдохнуть.

И вдруг у меня возникла идея.

— Ява, — говорю, — а что, если влезть и посмотреть, куда идти.

— Влезть? Это что тебе — дерево? Это же кукуруза. Злак. Не слышал я, чтобы люди на злаки лазили.

— Ну и что, говорю я. — Видишь какая толстая! Как бамбук! Может выдержит.

— Ну так лезь.

— Нет, ты лезь — у тебя штаны короче и пуговиц меньше. А я подсажу.

Ява махнул рукой:

— Ну, давай попробуем.

Мы выбрали самую высокую и самую толстую кукурузину, я прижался к ней спиной, сплёл пальцы рук, чтобы удержать Яву, когда он на них ногой встанет, и сказал:

— Ты больше на меня опирайся, а за кукурузину только держись.

— Хорошо, хорошо, — сказал Ява и, кряхтя, начал взбираться на меня. Вот уже коленом на плечо встал, уперся руками в голову. Ой! — ботинком за нос зацепил. Но я еще пока молчу, терплю! Ботинок вдавливается мне в плечо, каблуком ключицу проламывает. Я начинаю шататься, колени дрожат, подгибаются, подгибаются...

— Ява! — кричу. — Быстрее смотри, я падаю.

И... что-то затрещало, зашумело, засвистело — словно бомба в кукурузу упала.

Я лежу, увязнув носом в землю. Во рту — песок, в ушах — песок,

глаза запорошены.

Откашливаясь, отплёвываясь, протираю глаза и зову:

— Ява, где ты: Ты живой?

— Жи... — апчхи! — ...вой. — И из кучи поломанных кукурузных стеблей высовывается Явина голова.

— Ну, что, — спрашиваю, — видел?

— Фигу, — говорит, — я видел. Одни метелки перед носом.

Ява вздохнул. Я посмотрел в небо.

«Чудеса, — подумал я. — Космонавты летают в безграничном небе, среди звезд, за сотни километров от земли — и ничего. А мы в кукурузе заблудились. Да еще в такой решающий момент! Кино!..»

— Ява! — вскочил я. — Это глупость какая-то. Этого не может быть, потому что это невозможно. Еще никто в мире не заблуживался в кукурузе. Мы просто пошли не в ту сторону. Я хорошо помню, что, когда мы шли, солнце было у нас за спиной. Идем назад.

Сначала Ява недоверчиво поглядывал на меня. Но я говорил, наверно, так убедительно, что он поднялся.

— Кто знает, может и правда. Идем.

И мы поплелись назад.

Ох, как тяжело было идти! Мы не чуяли под собой ног. Мы просто механически переставляли их, как ходули. И зачем мы ползали на коленях?

А тут я еще споткнулся и ногу подвернул, даже вскрикнул, так было больно.

Сел на землю и скривился, как среда на пятницу. Если бы Явы не было, заплакал бы.

— Что? Что? — наклонился надо мной Ява.

— Брось меня! Иди, пробивайся сам, — сказал я хрипло и уныло.

— Тьфу, дурак! — Ява обнял меня за плечи. — Сейчас пройдет.

Он помог мне подняться. Я оперся на его руку, и мы потихоньку пошли.

Через несколько минут боль унялась, и я захромал довольно бодро. А вскоре и совсем забыл о ноге.

Трудно сказать, сколько мы шли: полчаса, час или два, и сколько мы прошли: километр, два или десять. Но наконец я не выдержал:

— Ява, — говорю, — я больше не могу. Я сейчас упаду. Давай отдохнем.

Мы легли на землю.

Было тихо. Лишь кукурузные листья шуршали над нами. Где-то далеко провакавал перепел, снова наступила тишина. Даже кузнечиков не было

слышно.

— А что, если мы совсем не выберемся отсюда? — тихо сказал я. — И никто не знает, куда мы пошли. И нас не найдут. И мы погибнем. И через две недели комбайн вместе с кукурузой соберет наши косточки.

— Надо было бы пообедать. Всё же дольше бы продержались.

При напоминании об обеде так захотелось есть, что я чуть не заплакал.

— У нас на обед борщ и вареники с мясом, — мрачно произнес Ява.

— А у нас суп с галушками и жаренная курица, — сказал я, едва сдерживая слёзы.

Нет, дальше терпеть я не мог.

— Ява, — говорю, — давай звать людей. Давай людей звать, Ява.

Но Ява был более стойким чем я.

— Ты что, — говорит, чтобы смеялись? Здоровые лбы среди белого дня в колхозной кукурузе «Спасите!» кричат.

— Пускай, — говорю, — лишь было кому смеяться.

— Нет, — говорит Ява, — если так, уж лучше давай петь.

— Ладно, — говорю, — давай петь.

И мы затянули первое, что в голову пришло. А первой почему-то пришла в голову песня космонавтов:

На пыльных тропинках далёких планет, —

жалобно-жалобно выводил Ява.

Оста-нутя наши следы, —

еще жалобнее подтягивал я.

Долго мы пели. Почти все песни, какие знали, мы пропели. Особенно почему-то хорошо пелись те, что начинались с «Ой». «Ой в поле могила», «Ой я несчастный», «Ой не свети, мясеченько», «Ой не шуми, луг», «Ой что ты, дуб», «Ой в поле жито». Эти «ой» мы рывкали так, словно нас кто в бок колот.

Хорошо пошла у нас также песня «Раскинулось море широкое». По-особенному выходил куплет «Напрасно старушка ждет сына домой». Трижды мы спели эту песню, и трижды, когда доходило до этого «напрасно», у меня начинало першить в горле. Наконец мы совсем охрипли и кончили петь.

Мы лежали, обессиленные от голода, от песен, от печальных мыслей.

— Как чувствовал, что сегодня что-то будет! — вздохнул Ява.

Я от нечего делать засунул руку в карман и неожиданно нащупал там что-то твёрдое. Вытащил и аж подскочил. Это же конфета, которую я забыл съесть вчера! Да еще и мятная. Это же пить меньше будет хотеться.

— Ява, — хриплю, — смотри!

Ява взглянул и вздохнул:

— Одна?

— Одна.

Конфетка слезалась в кармане, подтаяла, фантик прилип так, что и зубами не отдерешь. Раньше я бы её, наверно, просто выкинул. Но теперь это была такая ценность, что ого-го!

Я осторожно перекусил конфетку пополам. Но неудачно — одна половинка вышла больше другой. А еще кусать — только раскрошить.

Я вздохнул и протянул Яве большую.

— Чего это? Давай мне ту.

— Нет, — говорю, — бери. Ты больше есть хочешь.

— Почему?

— Потому что я, — говорю, — хорошо позавтракал. Яичницу ел, и колбасу, и молоко пил.

— А я! Я картошки целую тарелку, и мяса, и салат из огурцов и помидоров, Так что, ты самый голодный, а не я. Бери.

— Нет. Я еще пирог с яблоками вот такой и варенья блюдце. Бери ты.

— А я два пирога, и целую крынку молока, и стакан сметаны, и еще творог, и...

— А я еще блинов, и груш, и...

Наши завтраки увеличивались и увеличивались. Если бы их сложить, то вышел бы уже, наверно, дневной рацион слона. Закончилось тем, что Ява от большой половины очень ловко откусил маленький кусочек, и таким образом «порции» сравнялись.

Мы собирались сосать конфетку как можно дольше, но через несколько минут во рту уже и вкуса не осталось, есть захотелось еще больше. И есть, и пить. Особенно пить. Вскоре мы даже забыли о голоде. Пить, только пить хотелось нам. Вот только теперь почувствовали себя по-настоящему несчастными. Мы едва шевелили пересохшими губами. Солнце начало садиться, приближался вечер. Мы с ужасом думали о своём будущем.

И неожиданно мы услышали... песню.

Три деда, три деда полюбили бабку
А четвертый малюсенький прицепился сзади...

— выводил кто-то хрипло и гнусаво в два голоса.

Нас даже вверх подбросило, как на пружинах. Люди!

— Эй! Эй! — закричали мы и замолкли, прислушиваясь.

Нам казалось, что песня, которая как будто приближалась, начала немного отдаляться.

Трем дедам, трем дедам бабка фиги тычет
Четвертого, малюсенького, за чуб тянет...

И тогда мы, забыв обо всём на свете, бросились, ломая кукурузу, на песню и отчаянно закричали:

— Люди! Подождите! Люди добрые! Сюда!..

И кажется, я даже прокричал это позорное «Спасите!» — я точно не помню. Песня прервалась.

— Люди добрые-е-е-е! Подожди-и-те! — проверещали мы и замолкли, ожидая ответа.

И где-то совсем уже недалеко послышались голоса:

— Зо-ов-ет кто-то...

— А, пошли!

— Не! Кр-ик-чит кто-то... Чтобы я света белого не видел!

Мы так и присели.

— Мамочки, да это же Бурмило! И Кныш.

— Да пошли! — говорит Кныш. — Это кто-то балуется.

— Нет, не балуется. «Спасите!» кричит... Ау! Кто тут есть? Где вы? — заорал Бурмило.

Ява глянул на меня и приложил палец к губам: «Тс-с!». Но было уже поздно.

— Тут! — пискнул я. Оно как-то само вырвалось, ненароком.

Кукуруза над нами раздвинулась, и мы увидели красные рожи Кныша и Бурмилы.

— Эй! Так это вы? Голубчики! — расплылся в ехидно-радостной улыбке Кныш и подмигнул Бурмиле. — Что я тебе говорил? И заблудились? В кукурузе? Ха-ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Хе-хе-хе!

Он уже согнулся пополам, держась за живот, так хохотал. Бурмило

смеялся не подряд, а через определенные промежутки времени. Он был пьянее Кныша. Смех у него булькал где-то глубоко внутри, а наружу вырывался небольшими порциями, как пар из чайника, что только-только закипает:

— Хи-ш... хи-ш... хи-ш!..

— Эх, вы... с-сопляки! — насмеявшись, сказал Кныш. — Ну, хватайтесь за дядькины штаны да крепко держитесь, а то снова потеряетесь.

И, обняв Бурмило, он повернулся к нам спиной.

Большого позора и унижения мы в своей жизни не испытывали.

Но выхода не было. Не ночевать же в кукурузе.

И мы, как арестанты, опустив головы, покорно потащились за «врагами народа», за теми, кого считали шпионами и предателями.

Глава 12

«Не зови меня больше — Ява, зови меня — Кукурузо!»

Я иду в сельмаг. Меня мать послала. За маслом! Это на другое утро после трагедии в кукурузе.

В сельмаге и возле него полно людей — сегодня воскресенье. Кто-то что-то покупает, кто пиво пьёт, кто просто разговаривает, семечки лузгая. Сельмаг у нас напротив клуба — тут всегда сборище, а в воскресенье и подавно.

Заметив меня, люди начинают улыбаться, перешептываться, перемигиваться. А дед Салимон говорит:

— А, здорово, парень! Что-то я тебя давно не видел.

— Да его же не было в селе, — объясняет Гриша Чучеренко.

— А где же? — «удивляется» дед Салимон.

— Да в кукурузе блуждал... неделю или две.

— Ха-ха-ха! — хохотом взорвался сельмаг.

Тут продавец дядька Кузьма не выдержал, встрял:

— Мы недавно компасы получили... Не нужно?

— Ха-ха-ха!

— Хо-хо-хо!

— Хи-хи-хи!

— Вот мальчишки!

— Вот артисты!

— И кино не надо!

— Хе-хе-хе!

— Ху-ху-ху!

Взял я масло и стремглав на улицу. А за мной следом хохот катится. Кто не встретится, слово бросит.

— Привет кукурузнику!

— Здоров, козак!

— Салют от королевы полей!

Может, кто и просто так здоровается, а мне кажется, что насмешливо, издевательски. И может, кто где-то смеется совсем по другой причине, а я всё на свой счет принимаю.

Возле клуба большая афиша кинофильма «Тарас Шевченко» (сегодня

идет). Нарисовано, как прогоняют сквозь строй солдата.

И сразу, мне кажется, что оживают тени по сторонам, вырываются розги из них, шпицрутенами свистят в воздухе. И горшки на плетнях — уже не горшки, а солдатские головы в бескозырках... Как тот солдат, бегу я сквозь строй — улицей...

Попали мы в передрагу. Несколько дней смеяться будут, не меньше. Хоть на улицу не выходи. У такой народ!

Принес я масло, пошел к Яве отвести душу. Встретил его в саду — он ко мне как раз собирался.

— Здорово, Павлуша! — серьезно-серьезно сказал он. — Я к тебе.

— Здорово, а я к тебе!

— Прощаться шел, — отвел в сторону глаза Ява.

— Что, посылают куда-то? — удивился я.

— Да-а! — махнул рукою Ява. — Совсем из дома бегу.

— Куда?!

— На какой-нибудь необитаемый остров.

— Тьфу на тебя, глупый! Мелешь такое, что с ума сойти можно. Где ты возьмешь этот остров? Теперь таких островов и не бывает.

— Бывает. Но ты не знаешь.

— Как же ты убежишь, когда мы и до моря с тобой не смогли доехать? Тебя же на первой станции поймают.

— А я и не пойду на станцию... Зачем мне станция?

— А как?

— В плавни подамся. Сколько там островов необитаемых.

— Но как же там будешь жить? Пропадешь же. Помнишь, как Гунька пропал?

Жил в нашем селе когда-то придурковатый Гунька. Приблудный. Без роду и племени. Никто не знает, как он в селу прибился. Зимой ходил босой, без шапки. Старые бабки его святым считали. Тихий был, никого не трогал. Ходил себе по селу и смеялся: «Хи-хи-хи-хи». Любил в плавнях гулять. Как запропастится — два дня нет. Потом возвращается, худой, голодный, заросший рыжей щетиной, Даже зимой в плавни ходил по льду. В сильный мороз пойдет, разложит на острове большой костёр: люди уже думают — плавни горят. Приходит: «Фу, — говорит, — натопил. Теперь в селе тепло будет», Два года назад пошел Гунька в плавни, и то ли он вправду — пропал, утонул где-то в болоте, то ли просто ушел из села — так никто и не знает. Больше его не видели.

— Неужели хочешь пропасть, как Гунька? — повторил я.

— Не пропаду, — уверенно сказал Ява и вытащил из-под рубашки

книжку. — Вот жил же человек на необитаемом острове — ничего. Не пропал.

— Что за книжка? — спрашиваю.

— «Приключения Робинзона Крузо». Читал?

— Не помню... Может, и читал. Что это за Кукурузо?

— Крузо, а не Кукурузо, чудак. Очень интересная книжка.

— Книжка книжкою, а плавни плавнями. Ты лучше подумай.

— Я уже подумал. И решил окончательно. Ты меня знаешь. Я только хочу, чтобы ты мне немного помог.

Я был обезоружен. Если человек обращается к тебе за помощью, то отказывать ему — свинство.

— И надолго ты собираешься на этот на этот остров?

— Робинзон пробыл на необитаемом острове двадцать восемь лет два месяца и девятнадцать дней, — вздохнув, сказал Ява.

— Ого-го! — даже рот я раскрыл. — Это же сколько тебе будет? Сорок с гаком. Это же мы уже все школу окончим и институты. Карафолька академиком станет. Гребенючка агрономом. Я лётчиком, если получится. А ты...

— Что же поделаешь, — снова вздохнул Ява.

— Слушай, а кто будет за Кнышем и Бурмило следить? Кто будет их разоблачать, выводить на чистую воду? Может же, они вправду опасные шпионы и злодеи? А? Ты что — забыл тот таинственный разговор? И акваланг? И торт, и всё другое? Забыл?

Ява сразу покраснел, как будто я его застал на месте преступления. Я уже начал радоваться, думал, что он сейчас откажется от своей затеи. Но он сказал:

— Нет, ничего я не забыл. Но придется тебе самому следить за ними и разоблачать их. Ты парень смелый, сам справишься. И станешь знаменитым. И о тебе в газетах напишут, и по радио, и по телевизору... А я не могу тут больше жить. Не могу. Переэкзаменовка...да еще и эта кукуруза. Через несколько дней приедет мать и... хоть на край света.

Я вздохнул.

— А может, все же не будешь убегать? Как-нибудь перебедеуешь.

— Не, если я решил — все!

— Да пусть рехнется этот Кукурузо, что надоумил тебя на остров бежать. Так мы в детстве больше и не увидимся? — с отчаянием сказал я. — С кем же в футбол играть буду? С Карафолькой? Спасибо тебе!

Ява, сморщив лоб, смотрел на меня — что-то обдумывал. И помолчав немного, сказал:

— Почему это не увидимся? Ты один знаешь про остров. И приезжать будешь иногда... Робинзон тоже не совсем один был. Потом он спас дикаря Пятницу и вдвоём с ним жил. Так что...

— Выходит, я буду у тебя за дикаря, — уже весело сказал я. — Он, видите, герой... А я, значит, дикарь. Вот Кукурузо!

— Да Крузо, а не Кукурузо! Робинзон Крузо.

— Это он был Крузо, а ты — Кукурузо. Как раз подходящее тебе имя. После вчерашнего...

— А что! Может, это ты и неплохо придумал. Кукурузо! Звучит! А? Знаешь что! Ты не зови меня больше Ява, зови меня Робинзон Кукурузо. Пусть так и будет. Договорились?..

Так Ява перестал быть Явою, а стал Робинзоном Кукурузо. Видно, на роду ему было написано носить выдуманные имена.

Так что запомните хорошенько: дальше я буду его звать Кукурузо.

Глава 13

Ищем остров

— Так ты что — уже сегодня хочешь убежать на остров? — спросил я.

— Эх, какой ты быстрый! «Сегодня» — рассердился Кукурузо. — Нужно же сначала выбрать подходящий необитаемый остров, а потом уже бежать.

— А что там выбирать? Высадился на какой-нибудь и живи.

— Тебе — конечно. А мне двадцать восемь лет два месяца и девятнадцать дней жить. Думаешь — легко?

— Да разве я против, можно и выбрать. Хоть сейчас. Поедем?

— Немного позже. Через час. Как дед в сельмаг пойдет.

— А что ты вообще дома скажешь, когда убежать будешь? Они же волноваться будут. Всё село на ноги поднимут. Искать будут. Я себе представляю!

— Конечно же, я не скажу: «Дорогие родители, я убегаю от вас на необитаемый остров. Будьте здоровы. Пишите». Это же комедия. Никто так на необитаемый остров не бежит. Матери и отцу вообще ничего не придется говорить. Они в Киеве. А для деда я что-нибудь придумаю. Скажу, например, что к тетке Ганне в Пески пойду. Там же Яринка сейчас гостит. Что-нибудь выдумаю... Чтобы панику не поднимал.

— А потом что? Когда мать придет и узнают, что ты пропал.

— А мне что — пусть ищут. Лишь бы не нашли. Гуньку, тоже помнишь, три дня искали, а потом бросили. И Ничего. Теперь редко кто и вспоминает. Так и меня... — Тут голос у Кукурузо задрожал. Наверно, мысль о том, что его забудут, была всё же горька для него. И он поспешил перевести разговор на другое: — Главное, остров нужно хороший найти. Чтобы и место рыбное было, и дичь чтобы...

— А ты и ружьё брать будешь?

— А как же. У Робинзона было даже несколько ружей. Но я и с одной своей берданкой не пропаду. Ты же знаешь мою мою берданку. Бьёт, как сумасшедшая. Даже лучше дедова «Зауера».

Это уже Кукурузо преувеличивал. Но я не стал спорить — мальчишка на двадцать лет на остров бежит, пусть потешится. В прошлом году дед подарил ему на день рождения берданку и начал брать с собой на охоту. Кукурузо очень гордился и своей одностволкой, и тем, что ходил на настоящую охоту. Я завидовал ему и тоже мечтал о ружье, но у меня его не

было.

В сенях послышался кашель, скрипнули двери, и во двор вышел дед Варава. Глянул сердито на нас и сказал:

— Я в сельмаг на минутку. Смотрите мне здесь!

— Да мы ничего. Вот только на речку, может, искупаться. Видите, жара какая — просяще произнес Кукурузо.

— Уроки, уроки надо учить, а не купаться. Двочник! — буркнул дед и, кряхтя, шагнул через перелаз.

Я с сомнением посмотрел на Кукурузо.

— Ничего, пойдем, — тихо сказал он. — Я знаю эту «минуточку». Встретиться у сельмага с дедом Салимоном и часа три протрепятся, не меньше.

Хотя ничего странного и не было в том, что мы едем в плавни на лодке (сколько раз ездили и рыбу ловить, и просто кататься), ни у кого подозрения не могло возникнуть, но мы пробирались к речке крадучись, всё время озираясь. И ни одной хорошей лодкой не воспользовались. Хотя все они были привязаны у берега и не запрещалось брать их — тут и моего отца лодка была, и деда Варавы аж три (долбленка и плоскодонки). Мы разделись и переплыли на другую сторону на песчаный островок, где за большим кустом ивняка лежала та гнилая, изношенная, как старый башмак, ничья плоскодонка, из которой мы хотели сделать, но так и не сделали подлодку и на которой тонул Ява. Мы её после этого прошпаклевали, просмолили, и хоть она и пропускала воду, но не тонула: если не забывать вычерпывать, можно плыть. Тут же под лодкой лежало длинное потресканное весло, которое мы одолжили у деда Варавы. Он и не заметил — у него в сарае примерно с десяток весел валяется: и короткие — для долбленки, и длинные — для плоскодонок. У нас же, знаете, как на плоскодонках ездят? Стоя. Стоишь на корме (или на носу) — и то с одного борта, то с другого борта подгребаешь. Поэтому и весло длинное. Так грести — уметь надо. Если не уметь, можешь только — плюх! — корми раков. Ну, мы с Кукурузо смалу умели — нам не страшно.

— Черпак не забудь, а то высёрбывать придётся. Смотри, течёт всё-таки, калоша старая — сказал Кукурузо.

Оттолкнулись мы от берега — и уже в камышах. Узенькой протокой плывём. Гребет Кукурузо — хотя я и хорошо умею, но он большой мастер. Гребет тихо, осторожно — присматривается. Протока извилистая, всё время повороты. Если гребнешь сильнее, чем надо, — раз! — и лодка уже носом в камыши залезла. Отталкивайся потом, вытаскивай нос — морока! Хорошо гребет Кукурузо — ни разу в камыши не врезался. Я лежу на носу,

смотрю в воду. Вода прозрачная-прозрачная — аж до самого дна видно: водоросли, лилии, коряги. И даже видно, как рыбы шныряли. Интересно!

Всё дальше и дальше углубляемся мы в плавни. Неожиданно за поворотом открылся широкий плёс. Гладь — ни морщинки. Белые и желтые лилии раскиданы — как на картинке. Посреди плёса два нырка плавают. Увидели нас — и нет. Так быстро нырнули, словно и не было. Только ровный плёс. А глядь — метров через двадцать — будто и не они, а другие...

Снова мы в протоку заехали.

Ш-ш-ш! С-с-с! Ш-ш-ш!

Утки пролетели.

Охотничий сезон не начался, и еще непуганые утки тучами летают над нами.

— Вот бы ружьё! — Говорит Кукурузо.

— Ага, — говорю я.

Плывем.

— Вон тот кизяк, возле которого я затонул, — печально произнес Кукурузо.

— Тьфу! — плюнул я в ту сторону.

Мы снова выплыли на плёс, довольно-таки большой, по которому даже гуляли пенящиеся волны (потому что как раз поднялся ветер) — как по настоящему морю. Это был уже пятый плёс, который мы проплывали. И островов мы миновали уже с десяток. Я каждый раз спрашивал: «Может, этот? Или этот? Хороший же необитаемый остров. То что надо», Но у Кукурузо были свои представления, и все острова он забраковал. По разным причинам. Один был слишком маленьким — негде разгуляться. У другого берега очень камышом заросли — до воды трудно добраться. На том деревьев нет — где же дрова брать для костра? И так далее.

И вот перед нами новый остров. Как большая зеленая куча: кусты ивняка, плакучие ивы и тополя покрыли его почти весь. Берега заросли камышом не сплошь — есть выходы к воде. Чистый плёс с трех сторон омывает остров.

— Кажется, он, — сказал Кукурузо. — Давай пристанем.

— Давай! — с радостью отозвался я, потому что мне надоело искать.

Мы пристали. Остров был чудесный. Будто специально созданный для такого дела, какое задумал Кукурузо. Много деревьев и сухих веток — на двадцать лет хватит топить. В камышах, даже сейчас слышно, — утки крикают. А значит, дичи полно. На чистоводье вдоль берега рыба плещется, сама в уху просится. Посреди острова поляна: не то что в чижа — в футбол

играть можно. На краю поляны огромная старая плакучая верба стоит, ветвями землю подметает. И без шалаша от дождя спрячешься. Но шалаш, конечно, нужен.

— Шалаш я тебе помогу сделать, — сказал я, — ты же знаешь, как я шалаша делаю.

По шалашам я был мастер. Лучшего, чем я, шалаша никто из ребят не сделает. Это меня отец научил. У меня отец плотник. Половину хат в селе он построил.

На лице у Кукурузо было раздумье:

— Робинзон, разумеется, всё делал сам. Потому что он же один попал на необитаемый остров.

— Так то же Робинзон, а ты Кукурузо, — возразил я. — Нельзя же полностью копировать.

Мне непременно хотелось как можно больше помочь другу. Кукурузо не стал возражать. Я тут же вытащил из кармана большой складной нож с деревянной ручкой и принялся резать лозу. Я очень любил резать что-нибудь своим ножом, никогда не разлучался с ним, и от постоянного ношения в кармане ручка отполировалась так, что блестела как лакированная.

Кукурузо покорно помогал мне, непререкаемо признавая в этом деле мой верх. Он носил лозу, расчищал для шалаша место, заострял палки для каркаса.

Вскоре под старой вербой уже стоял прекрасный просторный шалаш, крепкий-крепкий (никакая буря не страшна) и такой уютный, что мне даже захотелось жить в нем. Я был очень доволен своей работой.

— Все двадцать лет простоит — гарантирую! — уверенно сказал я.

Только сейчас мы вспомнили, что дед уже, наверно, вернулся из сельмага, и поспешили назад. Добравшись наконец до берега и спрятав лодку, мы до самого дома бегом бежали. А когда, запыхавшись, прибежали, обнаружили, что дед еще не пришел. Кукурузо не ошибся: дедова «минуточка» умела растягиваться до нескольких часов.

— Ну что? Деда нет, можно сейчас собрать все необходимое, — сказал Кукурузо. — Сегодня всё приготовим, перетащим к лодке, а завтра...

— Выходит, решил уже завтра? — спросил я.

— Конечно... Ты что! Через несколько дней мать приедет...

Кукурузо ходил по хате, задумчиво взявшись за подбородок, и прикидывая, что брать с собой.

— Прежде всего ложку, — он вытащил из буфета щербатую деревянную ложку и засунул её за пояс. — Соль обязательно, без соли

пропаду. — Высыпал себе в тряпицу полпачки соли. — Хлеба! — мрачно глянул на зачерствевшую горбушку, что лежала на столе. — Мало...

Дед пошёл в магазин именно за хлебом.

— Я тебе принесу. И хлеба, и сухарей. У нас есть, — успокоил я его.

— Чаю? — он покрутил в руках пачку чая. — Обойдусь. Это тогда и чайник нужен. — А у нас один.

— Фонарик не забудь. Пригодится, — напомнил я.

— Фонарик обязательно. Без фонарика нельзя.

Он прошёлся по хате, взял в руки топор, что стоял в углу возле порога:

— Топор. Нужно хотя бы два. У Робинзона было аж двенадцать топоров.

— Что он — жонглировал ими что ли? — удивился я. — Зачем ему столько? Глупый какой-то твой Робинзон.

— Ты очень умный! — рассердился Кукурузо. — Молчи! Ты никогда не необитаемом острове не жил — возражай!

В это время дверь открылась и на пороге появился дед. Кукурузо так и замер с топором в руках.

— Оп-па! — спокойно произнес дед. — Мебель рубить задумал? А ну, поставь топор на место! Двоечник!

— Да я ничего, — замямлил Кукурузо. — Я... я... хотел ему показать ему, какой у нас топор хороший... удобный. Он говорит, что у них лучше... Как бы не так, у нас лучше, дедушка?

Дед ничего не ответил, и мы вышмыгнули из хаты.

— Фу! Чуть не засыпались! — уже за ригой выдохнул Кукурузо. — И как мы не слышали его шагов!

Это и вправду было удивительно. Значит, мы очень увлеклись. Потому что дедовы шаги слышно издалека. Дед ходит, как на лыжах, не отрывая ног от земли: шарк-шарк, шарк-шарк. Кажется, едва ноги переставляет, вот-вот упадет... Но посмотрели бы вы на него на охоте... На зайца по чернотропу дед может прошаркать этак километров пятьдесят — хоть бы что.

С идим мы с Кукурузо за ригой и обговариваем, как лучше перетащить всё необходимое в лодку. Наконец договорились. Кукурузо понемногу будет выносить из дома и прятать в бурьяне за ригой. А как стемнеет, уже я (чтобы Кукурузо был у деда на глазах и не вызывал подозрения) потихоньку перенесу всё в лодку. А завтра...

Глава 14

Робинзон Кукурузо высаживается на необитаемом острове

Утро следующего дня. Солнечное, звонкое, голосистое: петухи поют, гуси гогочут, коровы мычат. Я скрючился у тына и поглядываю в щель, что делается во дворе у моего друга.

Подготовительные работы успешно закончены. Всё имущество Робинзона Кукурузо уже в лодке: и берданка, и удочка, и фонарик, и ложка, и коньки (на зиму), и топор (к сожалению, один и то старый, треснутый и без топорща — ну, это ничего, на острове можно будет вытесать) и много чего другого. Червяков накопана полная банка из-под бычков в томате (я слово «бычки» зачеркнул и написал карандашом «червяки», вышло «червяки в томате»). И еды полная сумка. И даже две таблетки пирамидона (на случай болезни).. Значит всё в порядке.

Теперь осталось одно — отпроситься у деда.

Дед сидит на колоде и вытесывает рукоять для вил. Кукурузо ходит возле него и канючит.

— Деда!

— А?

— Я к тетке Ганне пойду в Пески.

— Отцепись.

— Деда!

— А?

— Ну я пойду.

— Отцепись тебе говорят. Иди уроки учи. Двоечник!

Помолчали немного. Потом снова:

— Деда!

— А?

— Мне с вами скучно.

— Так мне что — на голову встать, чтобы тебя развеселить?

— Я к тетке Ганне пойду. Там Яришка. Я её сколько не видел.

— Когда она дома, то только и таскаете друг друга за волосы, а тут, видишь, соскучился...

— Я вам и самосаду принесу. Вы же знаете, какой у тётки Ганны самосад.

— У меня свой не хуже. Отцепись.

Снова помолчали.

— Дедушка!

— А?

— Ну я пойду.

— Вот пристал, как банный лист! А уроки?

— Да я книжку возьму и там буду учить. Вот спросите у тётки Ганны потом.

Я притаился и думаю: «Ох, и тяжело в наше время бежать на необитаемый остров!»

— Дедушка!

— А?

— Я только на пару дней. Надо мной всё село смеётся после вчерашнего... Вот вы какой, ей-богу!

— Так не болтайся, где не надо! Кто тебя в кукурузу погнал?

Снова помолчали.

— Дедушка!

— А?

Долго канючит Кукурузо. Наконец деду надоедает терпеть и он говорит:

— Вот чертёнок! Совсем замучил. Ну иди уже, чтобы я тебя не видел. Только на два дня, не больше. Но если тётка Ганна скажет, что уроки не учил, — этой палки отведаешь. Двоечник!

Кукурузо не стал задерживаться, побежал в хату (а то дед еще передумает!), схватил «Граматику» — и к воротам. Потом вдруг остановился, обернулся, потоптался на месте, вздохнул:

— Будьте здоровы, дедушка! Хороший вы... Я всегда знал, что вы хороший...

— Иди-иди! — буркнул дед. Разве он знал, что прощается с ним Кукурузо на двадцать восемь лет два месяца и девятнадцать дней...

На улице я присоединился к Кукурузо.

Молча дошли мы до речки, молча сели в лодку и молча поплыли в плавни.

Только Собакевич, бежал за нами, весело гавкал и пытался ухватить за икры то меня, то моего друга. Не понял торжественности момента глупый щенок!

Не проронив ни одного слова, доплыли мы до острова. В молчании перенесли все вещи на поляну к шалашу.

И вот в последний раз стоим на берегу у лодки. Понурившись,

ковыряем носками ботинок землю. Стоим и вздыхаем. Надо прощаться, а мы не знаем, что говорят в таких случаях на прощание. Ведь не на день мы прощаемся, не на месяц, не на год даже, а на целых двадцать восемь лет два месяца и девятнадцать дней. Еще никто в мире не прощался так надолго.

Кукурузо наклонился к Собакевичу, почесал за ушами, взял его переднюю лапу, пожал:

— Прощай! Я бы тебя тут оставил, но и сам не знаю, как у меня с харчами будет... Не бойся... Павлуша тебя в обиду не даст. Ты же, Павлуша...

— А как же! — не дал я ему договорить.

И смолк, думая, что бы ему еще такое сказать успокаивающее на прощание.

— А те двое всё-таки не шпионы, — сказал я. — Настоящие шпионы нас придушили бы там, в кукурузе. И никто бы не знал. Они же точно теперь знают, что мы за ними следили. Так что не переживай — однако никто бы про нас ни в газете не написал, ни по радио, ни тем более по телевизору...

Но Кукурузо на это ничего не ответил.

И снова мы стоим и молчим.

— Ну так что? Давай едь уже! — не выдержал наконец Кукурузо.

— А ты что, спешишь? — говорю я.

— Да не, я ничего, но вообще... Тебе же домой надо. Ребята, наверно, в футбол сейчас на выгоне играют.

— Да! — машу рукой. Мол, не нужно мне ни футбол, ни ребята. А сам думаю: «Неужели это Кукурузо никогда в футбол играть не будет? Вот бедный!». И так мне стало его жаль! Он же такой хороший вратарь! Настоящий Лев Яшин мог из него вырасти.

Вздыхнув я, полез в карман и вытащил свой складной ножик.

— На, — говорю, — тебе пригодится. Ты же знаешь какой это ножик. Как бритва. Такого ни у кого нет. А у твоего кончик сломан.

Кукурузо покраснел от удовольствия. Он всегда завидовал мне из-за этого ножика и меняться не раз предлагал, но я не хотел. Но теперь пусть ему достаётся, раз он в футбол играть не будет и в одиночестве жить будет.

Я еще раз раз вздохнул, полез в другой карман и достал спичечный коробок. Там лежали рыболовные крючки, которые подарил мне отец. Прекрасные крючки! Настоящее богатство для рыбалки. И маленькие — на верховодок, плотву и карасей, и побольше — на ершей, окуней и лещей; и большие — на щук, линей, карпов. И совсем большие — тройные — на сомов и другого рыбьего зверя.

— Лови, — говорю, — на здоровье. Рыбой ты теперь обеспечен. Только знаешь, когда я к тебе когда-нибудь приеду, то и мне дашь половить. Очень я привык к этим крючкам.

Почему я так сказал — не знаю. Я еще ни разу не ловил на них. Наверно, всё-таки жалко мне было этих крючков! Даже больше, чем ножики. Кукурузо почувствовал это:

— Да зачем? Не надо. У меня же есть.

Но не мог оторвать восхищенного взгляда от коробка. Разве хватит у человека силы отказаться от такого подарка? Нет, не жалко мне крючков! Кукурузо же остаётся на необитаемом острове один-одинёшенек, как зуб во рту у деда Салимона. И никто его больше не увидит. Даже письма ему написать нельзя. Разумеется, нельзя. У него же адреса нет. У всех людей на свете есть адреса, а у него нет. Это неожиданная мысль взволновала меня.

— Слушай, — говорю, — так нельзя. Выходит, у тебя теперь нет адреса.

— Ну и что?

— Как — «ну и что?» Адреса нету, понимаешь! Выходит, будто ты вообще не живешь на свете.

— А что я могу сделать? — растерялся Кукурузо.

— Нужно немедленно как-то назвать остров. Будет название — тогда и адрес будет.

— Давай. Я что — против? А как?

— Откуда я знаю? Острова по-разному называются. Остров имени Врангеля, остров Мадагаскар, остров Таймыр. Нет, это, кажется, полуостров. Ну, как-то как.

— Ну пусть будет остров Мадагаскар. Красивое название. Мне нравится.

— Но уже есть Мадагаскар. Надо, чтобы такое название, которого еще нет.

Кукурузо задумался. Долго шевелил губами, наверно, перебирая в голове названия. Потом сказал:

— А знаешь — пускай будет имени Переэкзаменовки. Переэкзаменовка меня сюда привела, и пусть будет имени этой проклятой переэкзаменовки. Такого названия еще нет — стопудово.

Я не стал спорить. Так на карте мира (хотя об этом никто еще не знал) появилась новая географическое название — остров Переэкзаменовки. Кто знает, может, когда-нибудь в будущем школьники даже учить будут про это на уроке. «Остров Переэкзаменовки. Знаменит тем, что на нем провёл в одиночестве почти тридцать лет ученик пятого класса Робинзон Кукурузо».

И какой-нибудь оболтус получит двойку за то, что не будет знать этого.

— Не дрейфь, Робинзон, все будет хорошо, — бодро сказал я. — На таком острове не то что двадцать восемь — сто лет прожить можно. Лишь бы рыба клевала.

— Я тоже так думаю.

— Ну, прощай!

— Прощай.

Я бросил в лодку Собакевича, сел сам.

Кукурузо вдруг вздохнул и тихо сказал:

— Ты извини меня, Павлуша, что я в позапрошлом году тебя при всех в лужу пихнул. Извини.

Я тоже вздохнул и сказал:

— А ты извини, что я тогда, помнишь, твою кепку на вербу закинул. И вообще извини, если что не так.

— Прости! — сказал Кукурузо.

— Прости! — сказал я и оттолкнулся наконец от берега.

Последняя связь Робинзона Кукурузо с людьми оборвалась. Он остался один на необитаемом острове.

Теперь даже если бы он и захотел вернуться домой, он бы не смог этого сделать сам, без посторонней помощи. Потому что у него не было лодки. А без лодки выбраться из наших плавней невозможно — утонешь, как слепой котёнок.

Я предлагал, чтобы он оставил себе нашу «подлодку» (мы же какой-нибудь лодкой воспользоваться для переправы на остров), но он категорически отказался.

— Это несерьезно, — сказал он. — Это было бы словно какая-то прогулка: надоело — вернулся. Если бы у Робинзона был транспорт — черта лысого он сидел бы так долго на острове один! Нет, нужно по-настоящему. Никаких лодок, никакой возможности вернуться.

Героический человек был Робинзон Кукурузо.

Глава 15

Первый день на острове имени Переэкзаменовки Глава, рассказанная Робинзоном Кукурузо своему другу и однокласснику Павлуше

Как только оттолкнулся ты от берега и поехал, и когда исчез за камышами, только рябь на воде от лодки осталась, то такая тишина вдруг настала — никогда я такой тишины не слышал (даже тогда, когда уши мне после первого выстрела из берданки позакладывало). Стою я и не дышу, словно окаменел. Тихо-тихо... И только небо, кажется, звенит — словно огромной голубой миской меня накрыло. И я под этой мискою один, как мышонок под ситом, и деваться некуда.

Стою я, что делать — не знаю. И спешить мне не нужно, и делать нечего. Хоть стой, хоть через голову кувыркайся — всё равно. Никто не видит, никому до этого дела нет.

Плохо мне было. И главное, эта проклятая мысль, что я сам отсюда не выберусь. Хоть кричи, хоть бейся головой о дерево — ничего не поможет. Я бы не знаю, что делал, если бы не почувствовал вдруг, что хочу есть. Ты помнишь, что я так волновался и спешил, что дома и не позавтракал хорошо.

Это сразу меня в чувство привело. Продукты я решил пока что не трогать — кто знает, что там будет дальше. Решил наловить рыбы. Выбрал местечко подходящее, размотал удочки, наживил, закинул. Жду. Сижу, на поплавки смотрю и жду. Жду, жду, жду... Поплавки — не дернутся. Не шевельнутся даже. Не клюет. Я уже и плевал на червяков, и менял их, и с места на место переходил — нет клёва и всё. А голод всё больше донимал. Сижу я, слюну глотаю и шепчу: «Клюйте, рыбоньки! Клюйте, пожалуйста! Я же есть хочу!». А полавки, будто гвозди в доске, — торчат себе просто из воды и всё. Нет рыбы. Плавает мой завтрак под водой, и никак его не достанешь. Нервничаю я, то и дело удочки дергаю, да только червяков на крючках вытаскиваю. Хоть червяков ешь. Тьфу!

Сам понимаю, что время для ловли неподходящее, знаю же прекрасно, что клюет или рано утром, или вечером, но не легче мне от этого. Не ждать же до вечера — живот подводит, совсем отощаю. Кончилось тем, что зацепился крючком за корягу и леску оборвал. Пропал крючок — один из лучших, что ты мне подарил. Рассердился я, плюнул и пошел к сумке с

продуктами — не мог больше терпеть. Как дорвался — полсумки смолот. Наелся, как дурак мыла. Лёг кверху пузом на поляне, начал дремать и заснул незаметно. Долго, наверно, спал, проснулся, потому что почувствовал, что жжёт. Солнце жарит — шкварчит на небе, словно яичница на сковородке. Пощупал себя — щеки горят. Обгорел я на солнце. Пошёл умылся — жжет. Мокрой земли приложил — жжет. Вспомнил — сметаной или простоквашей надо. Да где её взять — сметану! Вот тогда я впервые почувствовал, что необитаемый остров — это необитаемый остров, а не наше село, где сметаны целые озёра. А мне бы сейчас хоть ложку, хоть половину ложки. Ох же и жжет! Залез я в шалаш. Темно в нем, холодок. Полежал немного, но хоть и жжет, а жить же нужно. Нельзя же двадцать восемь лет в шалаше пролежать. Вылез я, взял топор, нож твой и начал вырезать топорщице.

Нашел хорошую сухую палку, вырезал топорщице, начал выстругивать ножом и вдруг занозу в кончик пальца загнал. Под самый ноготь — такая боль. Сразу палец в рот. Сосу — не высасывается, зубами давлю — не выдавливается. Иголкой бы её, иголкой бы сразу вынул... «А фигу! Фигу не хочешь? — сам себе со злостью. — В село за иголкой нужно бежать. Беги, что же ты не бежишь?». Едва не заплакал я от бессильной злости — такую нужную вещь, как иголка, забыл. Взял крючок рыболовный, начал ковырять. Но сильно ковырять боюсь. Там же на конце крючка зазубрина: если загонишь, то мало того, что с занозой, еще и с крючком в пальце ходить будешь. Ох и помучился! Даже взмок. А занозу всё-таки всю и не вытащил — маленький кончик остался. А потом долго болело. Хорошо что хоть не нарвало.

Солнце начало садиться, и я снова почувствовал голод. На сумку смотреть боялся, потому что знал, если подойду к сумке, то завтра придется землю есть. Рыба, только рыба могла спасти меня от голода. Я снова закинул удочку. На этот раз мне повезло. Ох, Павлуша, как я обрадовался, когда вытащил наконец первого пескаря! Он был маленький, как палец, но он был мне дороже той полуметровой щуки, что мы с тобой поймали прошлым летом. Он трепыхался на крючке, а мое сердце трепыхалось в груди. Я даже поцеловал его, этого пескарика. Потом пошли окуньки, краснопёрки, карасики... Я так увлёкся, что не заметил, что перевернулась банка с червяками. А когда заметил — они расползлись по всему берегу. Я даже подскочил. Ой-ой-ой! Без червяков и рыбы не будет. Куда же вы убегаете, червячки? На кого вы меня покидаете, драгоценные?! Упал я перед ними на колени, принялся ползать по берегу и ловить. Но большинство уже в землю попрятались. К тому же темнеть начало. Едва с

четверть банки собрал. Рыбу больше не ловил, решил червяков сэкономить.

Развёл я костер, почистил эту мелочь, что поймал, принялся варить в старой кастрюле. Верю я и вижу, что вода как-то быстро выкипает — всё время доливать приходится. И под дном что-то шипит и трещит. Пригляделся — это же моя кастрюля течет-протекает. И как я раньше не заметил, что там дырки! Чуть не заплакал от горя. Что же мне теперь делать? В такой же кастрюле только глину месить. А не уху варить. Это же решето, а не кастрюля. А другой у меня нет и взять негде. На необитаемом острове я.

Хорошо было Робинзону Крузо. Всё нужное выкидывало ему на берег море после кораблекрушений. Совершенно все, даже деньги. Захотел двенадцать топоров — на тебе двенадцать топоров. Захотел рубашек шелковых — на тебе рубашки шелковые... А мне хотя бы одну кастрюлечку, что не течет. Хоть бы одно — единственную!.. Да где там! Разве дождешься тут, в плавнях, крушения корабля. Хоть сто лет жди! Вот потерпел кораблекрушение киевский охотник Папуша, утопил ружьё, но мне от этого какая корысть. У меня своя берданка есть. А то еще когда-то дед Салимон в райцентр на базар картошку вёз и перевернулся. Да разве он даст добру пропасть — до полуночи бороду в воде мочил, по картошечке со дна собирал. Потом неделю ракушки и водоросли вычесывал из бороды. Нет, на крушение мне и рассчитывать нечего!

Похлебал я с отвращением недоваренной ухи, что еще не успела вся вытечь, пожевал полусырой рыбы и сижую.

Уже совсем стемнело, и ночь свою черную шляпу мне на глаза надвинула. Даже звезд на небе не видно 0 облачно. Только угольки в догоревшем костре тлеют. Ты же знаешь, я не богоягуз, но... В животе холодело, и оттуда в сердце прокрадывался страх — скользкий и противный. Надо что-то делать, а то сейчас он всё сердце захватит, и никуда не денешься. Полез в шалаш, нащупал фонарик, включил. Нашел тетрадь свою по украинскому языку (ты же знаешь я и тетрадь, и «Граматику» у деда на глазах взял — будто бы у тётки учиться собираюсь). Карандаш нашел в сумке.

Тебя удивляет, правда ли, случайно не уроки ли я учить собрался. Нет! Чтобы ты знал — Робинзон Крузо на острове дневник вел, записывал все происходящее события. Что же, я хуже его? Я тоже, как и он, на острове. А на острове без дневника нельзя.

Ну, подряд писать, ты же знаешь, я не могу. Я тебе не писатель. Даже больше — я из-за письма переэкзаменовщик. Решил я кратко записывать лишь факты — плохие и хорошие. Провел в тетради посредине линию,

разделив таким образом лист на две половины — левую и правую. В левой сверху написал «Приключения» (это хорошее, это для меня, ты знаешь, в жизни главное ради чего я и на остров высадился, но без приключений моя жизнь — не жизнь, особенно на острове). В правой сверху написал «Неприятности» (Что же поделаешь, если случаются).

Долго я думал, долго грыз карандаш. И вот что у меня вышло:

Приключения

1 Наловил рыбы

Неприятности

1. Сгорел на солнце

2. Загнал под ноготь занозу

3. Потерял крючок (один из лучших)

4. Съел полсумки продуктов

5. Сбежали почти все червяки

6. Протекает кастрюлька, и я не знаю, в чем варить уху (хоть в пригоршне вари)

Как видишь, приключения одно и то маленькое, как пескарлик.

А неприятностей аж шесть, и все здоровенные, как акулы.

Всё это я писал, локтем принимая тетрадь к колену и стрекоча себе над ухом фонариком, потому что костёр уже догорел, а разжигать снова мне не хотелось (только не думай, что из-за того, что за хворостом надо было идти в темнющие неприветливые заросли!).

Фонарик у меня, ты же знаешь, «динамический», вечный, никаких батареек не надо. Но вот стрекотание... Стрекочешь — есть свет. Не стрекочешь — нет света. Или стрекочи и пиши. Или не стрекочи и не пиши. Я стрекотал. Полчаса после этого у меня в ухе жужжало. И рука одеревенела, словно я локтем о край стола стукнулся.

Написал я и думал, что всё — день закончился и больше ничего не будет.

Спать мне не хотелось — днём выспался. Вышел я, сел на берегу, обхватил руками колени, и мысли разные в голове крутятся: о селе, о школе, о тебе (что это ты сейчас там поделываешь — спишь уже, наверно)

...

Месяц из-за облака выглянул, — словно сабля козацкая, — высветил плес серебряным полумраком.

Невидимые утки просвистели-прошумели крыльями над головою, и тишина. Ветра нет, и даже всегда шуршащие камыши молчат, не

перешептываются между собой. Я смотрел на воду и думал.

Как вдруг тень упала на плёс: длинная-длинная, потому что как раз на фоне месяца. Из камышей выплыла лодка — без звука, без единого всплеска, как призрак. И это было очень страшно (словно во сне!). В лодке в полный рост стоял кто-то высокий и длинным веслом неслышно правил. Я захолопал глазами — не привиделось ли. Нет! Лодка направлялась прямо к острову. Увеличивалась, увеличивалась, как на киноэкране: у самого берега свернула и исчезла за прибрежными камышами.

Сердце мое забухало так, что земля содрогнулась. Кто это?! Кто это ночью в плавнях? Водяной? Ведьма? Нечистая сила?..

Да что же это я? Это же только старые бабки необразованные в них верят. А я школьник! Барабанщик в отряде!

Я верю в радио, в телевизор, в космические ракеты! Нет, глупости, не нужно бояться. И сразу вспомнил Гуньку... Того придурковатого Гуньку, полоумного, который два года назад пропал, исчез плавнях... Гунька! А что, если это Гунька?

Что, если он тоже, как и я, живет в плавнях на каком-то необитаемом острове? Гунька! Он же полоумный, он же ничего не соображает. Он может увидеть меня, подумать, что я какой-то злой дух (с чего бы обыкновенный мальчишка был ночью в плавнях!), и задушит. Задушит — и ничего ему не докажешь... Хоть кричи, хоть плачь, хоть умоляй. Словно слизни поползли у меня по спине — холодные, скользкие и мокрые. И точно кто петлю затянул на шее — сдавило горло, вздохнуть нельзя.

Я замер, прислушиваясь. Даже сердце, казалось, остановилось, чтобы я лучше слышал. Из-за кустов донёлся плеск, что-то бултыхнулось в воду, будто кого-то с лодки сбросили. Может, это Гунька привез кого-то и утопил? Теперь моя очередь. Я не мог больше сидеть на месте. Я вскочил, сделал одеревенелыми ногами несколько шагов в темноту к шалашу. И вдруг — на кого-то наткнулся... Кто-то огромный схватил меня сильными руками за плечи. Крик ужаса застрял у меня в горле — не вырвался. Я дернулся, лягнул, упал. Кто-то навалился на меня, царапнул лицо...

Тут рассказ Робинзона Кукурузо обрывается, потому что Павлуша в этом месте ойкнул и начался разговор, которого читатель не поймет, пока не услышит о том, что произошло в тот день и в ту ночь с Павлушей Завгородным.

Глава 16

Павлуша Завгородный снова рассказывает, что он делал в тот день и в ту ночь

Приехал я с острова Переэкзаменовки, где оставил своего друга Кукурузо на двадцать восемь лет два месяца и девятнадцать дней. Вытащил лодку на берег. И сразу принялся чинить её. До обеда провозился, но все дырки заново зашпаклевал и просмолил хорошенько. Работал с упорством — это же наше, общая с Кукурузо лодка, из которой мы еще подводную лодку хотели сделать, пусть это наша лодка будет в порядке. Я словно исполнял какой-то свой долг перед Кукурузо.

Пока занят работой, то еще ничего, а вот как закончил, как вышел после обеда на улицу, как взглянул на высокий тополь за воротами, возле которого мы встречались с Кукурузо рано утром, чтобы не расставаться до позднего вечера, то такая меня тоска взяла, хоть плачь. Такой пустой казалась мне улица, все село, весь мир — словно остров необитаемый. Есть люди — и нет их, потому что среди них нет друга моего лучшего.

И собаки будто бы не гавкают. И петухи не поют. И коровы не мычат. Как будто пропали звуки в мире — как это в кино бывает...

Слоняюсь по селу, места себе не нахожу. И каждый уголок, каждый кустик и деревце каждое мне о нём напоминают. Вот тут мы в чижа всегда играли. В этих кустах прятались, когда щеглов ловили. На этом дереве устраивали соревнования верхолазов. Помнишь, как тогда еще ветка подомной сломалась и вверх ногами на сучке повис, а потом упал просто на голову и думал, что голова моя в плечи совсем ушла — вздохнуть не мог. Хи-хи! А ты не смеялся. Ты мне искусственное дыхание делал. Думаешь, я забуду!

А вон старый колодец, из которого мы, нет, из которого ты Собакевича вытащил. Не думай, я о нем забочусь. Вот только что вот такой вот кусок мяса ему дал. За обедом не съел, для него приберег. Так что не волнуйся.

А вон домик Фарадеевича, где мы... Из калитки выходит кружок юннатов во главе с Бардадымом. О чём-то оживленно говорят.

— Глобулус... наш глобулус... киевские юннаты... профессор... блестящие результаты... только бы не осрамиться... — долетают до меня фразы.

А, зачем мне ваш глобулус, ваши результаты, если нет со мной друга

моего единственного! Если он на необитаемом острове...

Всё равно мне, всё равно.

— Гррр... грузовик проехал. Кнышев. И в кабине рядом с Кнышем — Бурмило. Куда это они?..

А, пускай едут куда хотят!

Был бы ты, мы бы обязательно прицепились бы сзади. А как же! А одному... Неинтересно мне одному. Не ловят шпионов в одиночку. Коллективное это дело. Как толока.

До позднего вечера бродил я в одиночестве по памятным для меня местам.

Наконец лег спать.

Я лежу, и мне не спится. Я думаю. За окном темно — хоть глаз выколи. На небе ни звездочки — облачно.

Что делает там, на необитаемом острове, мой друг Кукурузо? Спит ли? Вокруг никого. Догорел костер. И во всех сторон надвигаются черные странные тени. А он один-одинешенек, не с кем словом перемолвиться, лишь слушает, как бьётся его сердце.

А что, если уже с ним что-то случилось, какая-то беда, и кричит, зовёт он на помощь, и никто-никто не слышит, только лупоглазые лягушки квакают равнодушно в ответ, и селезни крякают в камышах, и луна катиться-катиться плавнями и не докатывается до людей, теряется, застревает в густых камышах. Кто же ему поможет, кто спасет?!

Я лежу, напрягшись, затаив дыхание. И вдруг показалось мне, что далеко-далеко где-то раздалось тонкое и жалобное: «А-а-а-а!». То ли едва слышный гудок тепловоза на далёком полустанке, то ли и правда голос — разве разберешь. Но сердце уже бешено бьётся в груди, и уже почему-то уверен я, что друг в беде. А никто же, никто не знает, где он. Кроме меня. И никто туда дороги не найдет. Кроме меня. И никто не поможет ему. Кроме меня.

Нет, не могу я спокойно спать, когда друг в беде. Не могу.

— Мама, — говорю, — пойду я на улицу спать. На сене. Душно очень.

Я беру одеяло и выхожу из хаты. И сразу окунаюсь в густую и даже, кажется, липкую темноту. Иду почти на ощупь, как слепой. Чтобы ненароком не скрипнуть калиткой, прокрадываюсь в сад и уже там перелажу через забор. Иду по селу, словно по лесу, — темнота и тишина. Только в одном месте мигает огонёк. Это на столбе возле сельсовета горит фонарь. Ветер качает его, и круглое светлое пятно взад-вперед скользит по земле, как качели. А дальше снова темнота. Я дважды уже споткнулся и едва не упал. А вот и речка. Тут немного светлее. Тускло поблескивает

вода. Я сажусь в лодку, осторожно, чтобы не намочить, кладу на нос одеяло (зачем я его взял — сам не знаю) и отправляюсь. Руки мои — словно не мои. Гребут механически — я их едва чувствую. И всё тело не мое, какое-то деревянное. И голова деревянная. Словно не по правде всё происходит, а в бреду. Шелестят камыши, как будто по коже моей шелестят.

Только бы не сбиться с пути, только бы не заблудиться. Первый плёс. Стружка. Второй плёс. Теперь направо. Вон тот гнилой островок, возле которого затонул Кукурузо. Правильно плыву. Из-за облаков выглянул месяц, и не только в плавнях, а и на душе моей стало светлее и веселее. Еще немного, еще. Уже близко. Вот еще эта стружка. Дальше поворот и — словно из узенькой улочки выехал я на огромную площадь. Широкий ровный плёс отразил рогатый месяц и серебряные пряди залитых сиянием облаков, и показалось вдруг зеленая гряда острова гигантской сказочной горой среди бескрайнего моря, и до горы той далеко-далеко, аж на горизонте она, а сам я маленький-маленький, как муравей. Казалось мне, что я даже вижу чарующе-прекрасные города на склонах горы, с церквями, с дворцами, с высокими башнями(это причудливо переплелись ветки вербы) и всадников даже вижу, что скачут по извилистым горным дорогам (не птица ли какая-то встрепенулась в зарослях), и даже слышу цокот копыт (это звенела в ушах тишина). Вот так вот изменяет иногда масштабы и замораживает голову месяц-волшебник.

И тем невероятнее и фантастичнее показалось мне то, что я вдруг увидел. А увидел огромную серую фигуру на лодке у самого берега — словно сказочный великан Гулливер попал в страну лилипутов. Я вздрогнул от неожиданности. Кто это? Кукурузо? Но у него нет лодки. Рыбак какой-то Но рыбаки же никогда так далеко не заплывают в плавни, да еще ночью. Рыба и возле села прекрасно ловится...

Кньш? Бурмило?

Сердце у меня покатилося-покатилося куда-то вниз... Тем временем незнакомая лодка исчезла за прибрежными камышами. Мне захотелось повернуть и как можно быстрее удрать. Но я сдержался. Ведь там, на острове, Кукурузо, мой друг, совсем одинокий. Я плыву ему на помощь. И может, именно в эту минуту моя помощь ему нужна как никогда. Ведь у меня лодка. И если незнакомец, которого я только что видел, действительно Кньш или Бурмило и хочет причинить зло моему другу, я спасу его — мы удерем на лодке. Быстрее, быстрее! Я налег на весло и направил лодку к берегу, — конечно, с другой стороны, нежели незнакомец. Пристал, вылез и осторожно начал пробираться в глубь острова. Кукурузо, наверно, в шалаше, — может, и спит, потому что не слышно ни звука. Звать его

небезопасно — сразу привлечешь внимание того типа.

Ох, как темно, какие же заросли! Ничего не видно...

Вдруг где-то там, за камышами, где был незнакомец, что-то плюхнулось в воду. Сердце замерло. Что Это?.. Что?.. Ой! А что, если это... он уже утопил моего друга! Холодный пот выступил у меня на лбу. Прошла минута, другая. Я стоял в полной темноте, вытянув перед собой руки (так я шёл) и не мог пошевелиться. И вдруг... вдруг на мои руки кто-то наткнулся. Огромный, как медведь. Руки мои сами собой невольно конвульсивно сжались, вцепились в его грудь, отпихивая. В следующий миг я почувствовал страшный удар по ногам и полетел на землю. Но почему-то не назад, а вперед, на него. Наверно, он подсёк меня и бросил на себя. Я завопил и бешено замолотил руками и ногами, вырываясь. Царапнув по чему-то мягкому, кажется, по лицу, рванулся изо всех сил, вскочил на ноги и бросился наутёк. Я мчался сквозь заросли, ломая ветки, спотыкаясь и наталкиваясь на деревья. Но я не чувствовал боли ни от царапин, ни от ударов. С разгону вскочил в лодку и, схватив весло, изо всех сил начал отгребать от берега. Я никогда не грёб так быстро — лодка летела, как ракета. Всё время я панически оглядывался — не гонится ли он за мной. Нет! Погони не было. Опомнился я лишь тогда, когда пристал к берегу у села. Я всё время дрожал от напряжения, от усталости, от страха. Не обращая внимания от усталости, по селу я тоже не шел, а бежал — в полной безопасности я мог чувствовать себя только в своём дворе.

Мокрый конец одеяла (я всё же намочил его) хлопал меня по спине, будто подгоняя. Как бревно, я упал в сено возле сарая и долго лежал совсем неподвижно — отдыхиваясь. В голове, словно в сломанном телевизоре, мелькали отдельные кадры только что пережитого и мысли. Что же это произошло? Кто это был? Неужели Кукурузо погиб? Что делать? Может, разбудить отца, всё рассказать, собрать людей и туда... А если Кукурузо не погиб? Ведь я не уверен в этом. Тогда тайна его раскроется и выйдет, что я предатель. О нет! предавать друга — это ужасно. Я никогда не пойду на предательство. Всё что угодно, но не это. Что же делать? Долго я мучился над этим вопросом, но так ничего и не придумал. Наконец усталость и сон одолели меня и я заснул.

Ночное происшествие было настолько невероятным, что когда я проснулся, то даже подумал сначала, не приснилось ли это мне.

Но вот ко мне мама подошла, наклонилась:

— Ну, как спалось во дворе, сынок? О что это одеяло мокрое? Разве ночью дождь был? Или, может... — мама усмехнулась.

Я густо покраснел.

— Да что вы... это... это... я... воды захотелось, кувшинчик сюда взял и разлил ненароком.

Хорошо, что мама спешила доить корову и не стала допытываться.

Ночное происшествие снова вспомнилось мне со всеми подробностями. Но теперь оно не казалось мне таким ужасным, как ночью. Может, потому что утро было солнечным и веселым, а, как вы знаете, все ночные страхи проходят утром. Ночью все кажется страшным потому, что темно и люди спят. А утром светит солнце, гомонят птицы, звенят ведрами бабы у колодца, и вокруг люди. Я был бодрый и энергичный. На остров! Немедленно надо на остров! Узнать, как там — живой ли...

Быстро умывшись, я побежал в хлев. Мама еще доила.

Теленок лез к корове. Мама отгоняла его: «Уйди! Уйди!».

— Мама! — попросил я. — Дайте молока, пожалуйста, быстрее, а то я убегаю.

— Куда это ты? Сейчас завтракать будем.

— Да потом. Я не хочу. Я молока только. Я с ребятами договорились пойти на рыбалку.

— Да хоть хлеба отрежь.

Выпил я стакан молока, отрезал большой ломоть хлеба — за пазуху — и на улицу со всех ног. За ворота выбежал и с разгона на деда Вараву наскочил — не заметил. Он даже пошатнулся.

— Тьфу на тебя! — буркнул сердито. Ишь, разогнался!

— Извините! Здравствуйтесь, дедушка!

— Здорово. Куда тебя несет? Прешь, как немой в суд. Людей с ног сбиваешь.

— Да я на речку, с ребятами договорился о рыбалке.

— Проспал, лодырь? — уже сочувственно и укоризненно спросил дед: сам же рыбак — понимает.

— Ага! Ну я побегу! Извините! — А сам думаю: «Эх, не знаете вы, ничего не знаете, куда я спешу. Если бы знали, не так бы запели...».

Глава 17

«Сегодня ночью...» Тайна вот-вот раскроется

С беспокойным сердцем отплывал я на остров. И чем ближе подплывал, тем сильнее трепетало моё сердце: живой или неживой, живой или неживой...

И вдруг радость отчаянным криком забулькала в моём горле, как вода в закипающем чайнике:

— Ого-го-го-го-го!

Я увидел его. Живехонький и целехонький стоял мой друг Кукурузо на берегу, высунув голову из кустов и радостно мне улыбаясь. Только нос у него был облупленный и правую щёку наискосок пересекала свежая царапина. Но что такое царапина на щеке такого героического парня, как Кукурузо? Ничего!

Когда я пристал к берегу, мне захотелось броситься и обнять его на радостях, но я сдержался. Я лишь ткнул его в плечо и спросил:

— Ну как? Как ты тут?

— Ничего, — хлопнул он меня по животу и сразу добавил, взявшись рукою за щеку и качая головой. — Тут такое было-о-о...

— Что? — спросил я, словно ничего и не подозревал.

— Ты не поверишь. Подумаешь, что я вру.

— Ну?

— Шпионы на меня напали ночью. Вот тебе и ну! Я дрался. Так дрался, как никогда в жизни. Думал, что пропаду. Вот видишь, — он ткнул пальцем в царапину на щеке, потом задрал рубашку и показал синяк на ребрах.

— Ну? Ну? — нетерпеливо спросил я. — Как же это было?

— Подожди... Я все по порядку. — И Кукурузо начал рассказывать мне то, что вы уже знаете.

Когда он дошел до трагического описания схватки с незнакомцем — как он лягнул ногами, как незнакомец упал на него и начал царапаться — у меня в животе неожиданно что-то засмеялось, прощекатало в горле и вырвалось изо рта коротким смешком.

Кукурузо обиженно выдохнул:

— Ты что — глупый? Тебе, конечно, смешно. Попробовал бы ты.

— А ну повтори, как это было — эта драка, — попросил я.

Кукурузо повторил. Я покивал головой, вздохнул и сказал:

— Это был я.

Кукурузо вытаращился на меня.

— Это точно был я... Смотри. — Я закатал штанину и показал на ноге под коленом здоровенный синяк. — Твоя работа.

И я рассказал всё, что случилось со мной этой ночью. Кукурузо только глазами хлопал:

— Так выходит, что это... что это... дрались мы с тобой? В мне казалось, что был кто-то такой здоровенный.

— А мне думаешь, нет? Просто великан.

Мы взглянули друг на друга и как захохочем вдруг!

— Вот это класс!

— Вот это да!

— И как я мог тебя не узнать?

— А я?

— Хоть бы слово сказал.

— А ты чего — как воды в рот набрал?

— От испуга.

— От испуга!

— А незнакомец что — и не вылезил из лодки?

— Не вылезил.

— А куда же он потом делся?

— Исчез где-то. Уехал. Я на дерево с перепугу вскарабкался — всю ночь на ветке, как обезьяна, просидел, аж до рассвета. И глаз не сомкнул. Вот только когда рассвело, вниз спустился и задремал немного.

— А зачем он приезжал, как ты думаешь?

— А я знаю? Не в гости ко мне во всяком случае.

— А ты слышал, как в воду что-то бултыхнулось?

— Слышал, конечно. У меня даже в животе ёкнуло.

— Может, кого-то утопили? А?

— Кто его знает.

— Так. может...

— Цыц! — Кукурузо вдруг схватил меня за руку. — Пригнись.

Еще не зная в чём дело, я послушно пригнулся.

— Смотри! — прошептал Кукурузо. На плёс выплыла лодка. В ней сидел Кныш. Лодка плыла тем самым «курсом», что и незнакомец ночью. Обогнула остров и исчезла за прибрежными кустами.

Мы упали в траву и поползли — туда. За теми кустами остров заканчивался. Никого там не было. Кныш проплыл мимо.

— В лодку!

Мы рванулись к плоскодонке.

Кукурузо вдруг остановился:

— Взять ружье?

— Не надо! — попросил я, потом добавил: — Некогда.

Мы сели в лодку и начали огигать остров, приближаясь к тому месту, где ночью исчез незнакомец. И хотя сейчас было утро и светило солнце, сердца у нас бились тревожно — мы не знали, что ожидает нас там, за кустами. А что, если и вправду нечто ужасное...

За кустами начиналась узенькая стружка. А вокруг — сплошные камыши. Путь был один.

Мы въехали в стружку. Она была узкая, но почти ровная и никуда не сворачивала.

Вскоре мы выплыли по небольшой плес и увидели остров. Я удивленно посмотрел на Кукурузо. Это был Высокий остров. Вон и шалаш Бурмилы — «президентия» — как раз у берега. Я и не знал, что этой стружкой можно попасть к Высокому острову и что он так близко. Мы всегда добирались до него другим путём.

Мы осторожно подплывали к берегу. У берега стояли две лодки.

Из-за шалаша раздавались хорошо слышимые голоса Кньша и Бурмило. Их не было видно. Они, наверно, сидели у костра — вился синий дымок...

— Нехорошо это... — укоризненно говорил Бурмило. — Нехорошо...

— Молчи уже — «нехорошо!». Моральный кодекс нашелся! А ятера ночью кто ставит?

— Да что ты! Парочка ятерьков каких-то, гнилых, едва живых. Туда и рыба не идет. Чтоб я света белого не видел.

— Ничего-ничего! За это тоже советская власть по головке не гладит.

— Но же... Да это же совсем другое...

— Ну, если ты такая цаца, то мотай отсюда, не вмешивайся! Чтобы я тебя тут не видел! Сегодня ночью я это сделаю — и квиты! И смотри мне!

— Да хватит уже! Только сейчас ты иди отсюда, а то понаедут юннаты с этим стариком! Кому это нужно!...

Я схватился за весло.

— Гребем отсюда — он сейчас поплывет.

Хорошо, что лодки наши с двух концов одинаковы — что носом плыть, что кормою (корма тоже заострена). А то бы мы не развернулись — узко. Да и не успели бы. А так нажали мы — и задним ходом в стружку что есть сил, к острову Переэкзаменовки. И только когда уже хорошо замаскировали лодку в камышах возле берега своего острова — отдышались и пришли в

себя.

Так вот оно что! Значит, это Бурмило ночью был, ятеря ставил. А едва не поубивали друг друга.

Но что же сегодня ночью будет делать Кныш на Высоко острове?! Что его даже Бурмило отговаривал. Уверен, что не в чижа играть!

— А может, он хочет глобулус украсть и за границу передать? — говорит Кукурузо.

— А разве он секретный?

— А что же ты думал, может, и секретный... Во всяком случае, кроме глобулуса, на этом острове красть нечего. Не лягушек же.

Неужели глобулус?..

И вдруг я вспомнил...

Это было месяца полтора назад. Я поехал с мамой на базар. Она просила помочь привезти ей корзины.

Базар у нас в райцентре, двенадцать километров от села. Раньше туда лодками по речке плавали. А теперь больше на велосипедах. Так быстрее.

Поехали мы. Мама — на «Украине», я — на своем «Орлёнке». Не люблю я базаров, но что поделаешь.

Отвез я корзины, собираюсь назад ехать. И тут вижу — Кнышиха. Торгует в ряду, где продают семена, сушеные травы да разные «специи». К крыше ларька, в котором она она торговала, пришпилен портрет космонавта Поповича.

Хорошо поставленным базарным голосом Кнышиха выкрикивает:

— А кому лёбули, кому лёбули? Двадцать копеек пучочек! Кому лёбули? Чистая лёбуля! Сто процентов витаминов! Все витамины! А!Б!В!Г! Д! Больше не купите нигде! Навались, у кого деньги завелись.

Её окружают покупатели. Торговля идет полным ходом.

— Как чаёк заваривают, — поясняет Кнышиха какой-то молодежи. — От рожки хорошо помогает... От сглаза... От... — шепчет что-то молодежи на ухо.

— Ну?! — удивленно-радостно говорит молодница. — Дай три пучёчка.

— Уступили бы немного, тётка... Дорого, — торгуется другая молодница.

— Дорого-мило, дешёво-гнило, моя дорогая! Не могу меньше... — И Кнышиха уже задуривает голову какой-то пожилой дачнице. — Можно и в борщ... Вкуснота! Берите, дама, не пожалеете. Муж вам ноги целовать будет.

И снова завелась звонкоголосо:

— А ну — водоросль! Целебная водоросль от всего! Вкусная приправа

для холодного и горячего! Можно в чай! Можно в водку! Можно сушить! Можно варить! Можно для дальней дороги! Еда космонавтов! — ткнула оттопыренным большим пальцем вверх, на портрет Поповича. — Тридцать копеек пучок! Украинский женьшень!

Покупатели посмеивались, но брали.

Я присмотрелся, чем она торгует. Это были пучочки какой-то сушеной травы, а может, и правда водоросли. Но то, что это не глобулус, и сомнения не было. Глобулус же, как говорил Фарадеевич — микроскопическая одноклеточная водоросль и так выглядит не мог ну никак.

Рассказал я тогда об этом Яве, поудивлялись мы предприимчивости и базарному таланту Кнышихи («Вот людей обманывает, змеюка!»), а потом и забыли. Чем только не торгуют на этих базарах! Это же тебе не в магазине.

А теперь я вспомнил. Может, и вправду Кныш на глобулус зарится.

— Во всяком случае, — решительно сказал Кукурузо, — ты как хочешь, а я сегодня ночью...

Кукурузо не договорил. Неожиданно с плёса долетела звонкая песня:

Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я!

Глава 18

Нежданные Игорь, Валька и другие

Голоса были мальчишеские и девчоночьи. Казалось, что в плавнях просто по воде и болоту шагает сквозь камыши веселый пионерский отряд. Мы удивленно переглянулись — что такое? Потом рванулись и побежали на берег — туда, откуда видно плёс. Но ничего не увидели — мешал камыш.

Мы быстро взобрались на старую вербу, под которой стоял шалаш. Это было самое высокое дерево на острове. И тогда увидели: из стружки на плёс выплывали, словно лебеди, белые лодки. В лодках сидели пионеры — в белых майках, в белых панамках, с красным галстуками. В первой лодке стоял во весь рост высокий юноша в белых штанах, без майки, но тоже с красным пионерским галстуком. Это был, наверно, вожатый. Под его бронзовой кожей вырисовывались могучие мускулы. Казалось этот юноша просто сошел с физкультурного плаката.

Но вот песня кончилась и вожатый выкрикнул:

— Друзья, предлагаю на этом острове сделать стоянку! Как вы считаете, товарищ штурман? — наклонился он к маленькому скуластому мальчику с нахмуренными бровями, что сидел на корме.

— Только так! — очень серьезно ответил мальчик.

Все почему-то засмеялись.

— Тогда держите курс на остров, штурман! — в тон ему сказал вожатый.

— Только так! — повторил мальчик, и снова все засмеялись.

Но на мальчика это не произвело никакого впечатления. Он и бровью не повел.

Один за одним лодки причаливали к берегу. И сразу остров словно превратился в пионерский лагерь: смех, крики, беготня. Кто-то играл в мяч, кто-то уже плескался в воде, кто-то ловил сачком бабочек. Среди толпы мы увидели и нескольких васюковских юннатов, но они не с нашего конца села, мы их знали плохо. Мы сидели на дереве, не зная, что нам делать — показываться или нет. Но долго думать нам не пришлось. Какая-то высокая длинноногая девочка нашла шалаш и закричала:

— О! Смотрите! Тут кто-то живет!

Все подбежали к ней. Подошел и вожатый. Загорелый шустрый мальчишка с фотоаппаратом через плечо шмыгнул в шалаш и сразу же

выскочил, держа в руках электрический фонарик.

— Фонарик! — пояснил он. — Механический. С динамкою. Даёт ток лишь тогда, когда нажимаешь на эту ручку.

И начал стрекотать, показывая. Кукурузо беспокойно заёрзал на ветке. Длинноногая девочка тоже шмыгнула в шалаш и вытащила ружьё.

— Поглядите, настоящее, охотничье...

— Ой, осторожно, оно, может, заряжено! Еще выстрелит, — ойкнула кто-то из девочек.

Тут Кукурузо не выдержал:

— А ну не трогай!

Все сразу подняли головы. Прятаться больше было ни к чему. Мы слезли с дерева. И сразу нас окружили пионеры:

— Кто вы?

— Что вы тут делаете?

— Это ваш шалаш?

— И ружьё ваше?

— Вы охотники?

— Вы тут живете?

Я растеряно посмотрел на Кукурузо.

Он потупился и молчал.

— Да они, наверно, просто рыбачат тут. Это наши, из Васюковки, — сказал васюковская юннатка, кажется, из восьмого класса.

— Или из дома убежали, — добавила другая (мы о ней знали только, что она вредная и дочка колхозного бухгалтера).

— Или в индейцев играют. Как «Маленькие дикари» Сетона-Томпсона. Помните? — вмешалась длинноногая.

— Или в робинзонов... Правда же? — сказал вожатый.

Я совсем растеряно глянул на Кукурузо. Мой друг густо покраснел. И вдруг сказал:

— Ни во что мы не играем. У нас тут дело одно... А вы кто такие?

— А мы из Киева. Юннаты мы, — затараторила остроносенькая девочка в очках.

— Приехали сегодня, — перебила её голенастая.

— Ой, Валька, не перебивай! Дай я скажу! — воскликнул остроносенькая и снова затараторила: — Сегодня приехали! Приехали сегодня... Услышали, что у вас глобулус выводят, и вот приехали. Наш руководитель профессор Дудка, говорит, что... Вы знаете профессора Дудку? О, знаменитость! Мировая знаменитость! Говорит, что ваш глобулус — это потрясающе. Потрясающе! Они приедут завтра — и

профессор, и корреспондент газеты «Звезда». А мы сегодня приехали. Профессор и корреспондент тоже сегодня приехали бы, но у профессора сегодня срочный ученый совет в Академии наук. Неожиданный. А у нас уже билеты были. Вот мы и приехали. А ваши не хотят нам показывать глобулус без профессора. Говорят: «Завтра». Ну, мы понимаем — люди столько старались. Им хочется, чтобы торжественно... Мы понимаем... А у вас какое дело: Какое? А?

Кукурузо насупился:

— Дело... вот и всё...

— Секрет? Да? Секрет? — не унималась остроносенькая.

— Ну что ты, Оксана! Прицепилась, как банный лист! — воскликнула длинноногая Валька. — Если не говорят, значит, секрет.

— Ну, хорошо, не говорите, не говорите, пусть будет секрет, — согласилась остроносенькая Оксана.

— Да мы вам, наверно, мешаем тут? — спросил вожатый.

— Нет, до самого вечера можете быть, — милостиво позволил Кукурузо.

— Да нет, мы на какой-нибудь часок. Просто хотелось искупаться и позавтракать на свежем воздухе, у костра. Девочки с самого Киева об этом мечтают. Вон Оксана никогда в жизни не завтракала у костра, — улыбнулся вожатый.

— Она и живой коровы никогда не видела. Только на картинке, — подмигнул вожатому мальчишка с фотоаппаратом.

— Ты очень много видел! Вот сейчас как дам! — бросилась на него Оксана.

— Брэк! Бой закончен! Победила Оксана! — сказал вожатый. — А теперь — за дело! Вынимайте термосы! Разводим костер!

— Только так, — авторитетно подтвердил маленький «штурман».

Пионеры сразу загомонили и побежали к лодкам.

— Ты, Игорь, займись костром, — сказал вожатый мальчику с фотоаппаратом. — Ты у нас мастер.

— Пойдем, я покажу где хворост, — по-хозяйски предложил Кукурузо. И мы втроем пошли вглубь острова. Шли и, как это всегда бывает в начале знакомства неловко молчали — не знали о чём говорить. И вдруг Игорь, не открывая рта (мы это хорошо видели), громко то ли проблеял, то ли гавкнул. И сразу где-то внутри у него заиграла музыка... Настоящая музыка. Джаз. Ну знаете: «Бз-вз, дудль-будль, бум-бем, бу-га-га...». И потом что-то запело женским голосом не по-нашему... Мы встали и уставились на Игоря, как бараны. Что это такое?

Он засмеялся и передвинул из-за спины вперед то, что мы всё время принимали за фотоаппарат:

— Приёмник! На транзисторах, полупроводниках. Я его только смонтировал в футляре от фотоаппарата. Потому что другого корпуса не было. Да и удобно. Через плечо носить можно.

Вот оно что! Это же транзисторный радиоприёмник, такой, как у деда Салимона! Как мы сразу не догадались?

— Хорошая штука, — опомнившись, снисходительно сказал Кукурузо. — Сколько дал?

— Что дал?

— Заплатил сколько?

— Нисколько. Сам сделал.

— Что-что? — Кукурузо скривился и приложил ладонь к уху, будто плохо слышал.

Я хихикнул.

— Сам, говорю, сделал, — серьезно повторил Игорь.

— Ага, — криво усмехнулся Кукурузо. — Ну да. Я же и спрашиваю: сколько дал? У нас в сельмаге «Турист» продаётся. Тридцать пять рублей. Красивый, под перламутр. Ну а этот, конечно, похуже.

— Вот, чудак, не верит. Ну, как хочешь.

Из кустов вышел вожатый.

— О чем это вы, ребята, спорите?

— Да ничего, просто так, — махнул было рукой Кукурузо, но потом, глянул снизу на вожатого, вдруг ехидно спросил:

— Дядя, а у вас все пионеры вот такие во... или только этот?

— А что такое?

— Да ничего... Просто он говорит, что этот приёмник сам сделал. Может, вон та худенькая автомобиль настоящий сама сделала, а этот «штурман-толькотак» — в космос летал?

— О космосе и автомобиле не скажу, а вот приёмник он действительно сам сделал. Это точно. Он у нас молодец. В радиокружке уже третий год. Академиком будет.

Вожатый говорил серьезно, не шутя. Не верить ему было невозможно. Кукурузо сразу скис — насмешливые огоньки в глазах погасли, уголки губ опустились.

Я тоже был удивлен. Мне почему-то всегда казалось, что все эти разумненькие образцовые школьники, которые мастерят действующие модели атомных ледоколов и самолётов, обязательно должны быть хилыми, заморенными, в очках. И обязательно чудаковатыми. А тут перед нами

стоял нормальный курносый мальчик — мускулистый, загорелый, по всему видно, тренированный. Его скорее можно представить на спортивной площадке, среди шумной ватаги расхристанных мальчишек, чем с головой ушедшим с головой в распутывание сложной начинки какого-нибудь удивительного радиоприёмника.

Мы молчали, растерянные и озадаченные.

Вожатый внимательно посмотрел на нас и притворно сердито сказал:

— Что же вы, братцы, разболтались тут, а хворосту не несете? Люди же голодные. А ну быстрее!

Это сразу вывело нас из оцепенения. Мы бросились поспешно (даже слишком уже поспешно) собирать хворост. И через минуту уже тащили на поляну большие охапки. Особенно старался Кукурузо. Он тащил такую охапищу, что я боялся, чтобы не него пупок не развязался.

Длинноногая девочка Валька, увидев, восхищено сказала:

— Ого-го!

И я не знаю, от чего больше был таким красным Кукурузо: от напряжения или от этого «ого-го». Он вообще почему-то часто поглядывал на эту Вальку. Нашел на кого смотреть! Страшила какая-то! Пучеглазая, длинноногая! Тьфу! Хуже Гребенючки в сто раз!

Все стояли кружком на поляне и смотрели, как ловко разжигал Игорь костер. «Смотри, городской, а умеет...».

Вскоре посредине поляны уже лизал небо огненными языками большой костёр.

— Ну, а чья очередь сегодня кашеварить? — спросил вожатый.

— Сашкина! — радостно закричала длинноногая Валька.

— Сашкина, Сашкина! — закричали отовсюду, и все посмотрели на «штурмана».

— Твоя? — спросил вожатый.

— Только так, — ответил тот.

— Вот же, везет нам сегодня, — улыбнулся вожатый.

— Везет! Везет! Уху! Сашенька, обязательно уху! Уху! — слились в один десятки криков.

— Только так, — впервые за всё время улыбнувшись, закивал Сашка.

Теперь, когда все стояли вместе вокруг костра, было особенно заметно, что Сашка очень маленького роста, меньше всех. Может, поэтому он и держался так серьезно и насуплено, чтобы казаться солиднее. Но еще было заметно, что все его любят, и если и смеются над этим «только так», то совсем не насмешливо, а скорее безобидно.

Сашка принялся готовить еду. Девочки помогали ему, чистили

картошку, рыбу, которую достали из сетки, привязанной к корме одной из лодок и опущена в воду. Другие школьники разбрелись по острову. Как-то так само собой вышло, что мы очутились рядом с Игорем. Игорь сидел на пенёчке и строгал ножом палочку. Мы с Кукурузо сидел возле пенёчка на корточках, уткнувшись подбородком в колени, и задумчиво ковырялись в земле. Потом Кукурузо кашлянул и, насупившись (чтобы скрыть неловкость) хрипло сказал.

— Дай посмотреть... приёмник... Можно?

Игорь сразу отложил ножик и палочку:

— А чего же... Конечно. Пожалуйста.

Он открыл футляр:

— Вот настройка, это диапазоны, это звук, — показал, что где крутить.

Кукурузо наклонился над приёмником. Засопел. Я и сам нос туда сунул. Кукурузо отпихнул меня локтем:

— Не дыши туда. Запотеет и испортится.

Игорь улыбнулся:

— Да ничего. От этого он не испортится.

Долго Кукурузо крутил ручки-колёсики, и мы молча, затаив дыхание, слушали голоса далёких стран.

— Да-а-а... Ценная штука, — сказал, — сказал наконец Кукурузо и добавил: — Ну, по физике у тебя, конечно, пятерка.

— Пятерка, — просто и без хвастовства ответил Игорь.

— А двойки ты хватал когда-нибудь? — с надеждой спросил Кукурузо. — Хоть по поведению, хоть по пению? Или круглый отличник.

— Отличник, — словно извиняясь, сказал Игорь. — Все наши юннаты — отличники. Такое условие.

Кукурузо тихо вздохнул.

В это время из кустов выглянула Валька. Видно девочки уже закончили чистить рыбу. Я видел её, а Игорь, который сидел к ней спиной, нет. Валька тихонько подкралась к нему, и не успел я даже рот раскрыть, как она одним движением столкнула его с пенёчка. Игорь ничего не подозревал и, конечно, кувырком полетел на землю.

— Даме всегда надо уступать место, — сказала Валька, садясь на пенёк.

Игорь, вставая и отряхиваясь, только улыбнулся в ответ.

Мы с Кукурузо удивленно переглянулись.

Хорошенькое дело! Толкового мальчишку — физкультурника, смастерившего такой приёмник, длинноногая страшила толкает так, будто он не мальчишка, а какая-то мебель.

Если бы, например, мне сделала такое, скажем, Гребенючка, я бы ей так дал.

Да что это с Кукурузо?

— А ну дай мне? — нахально говорит Валька и протягивает руку к приёмнику, который держит Кукурузо. И Кукурузо, теленок, спокойненько отдаёт приёмник. Тьфу, дурак! Что — её приёмник что ли? Что это она распоряжается!

Иш, какая умная!

Однако все эти возгласы, естественно беззвучно раздаются только во мне самом. Я молчу. Это же не мой приёмник, и не у меня его отбирают.

Валька начала настраивать приёмник, по-птичьим наклонив голову набок и смотря в небо. Нашла какую-то тягучую мелодию и вдруг радостно воскликнула:

— О! О!

Мы озадаченно взглянули на неё — что такое? Мечтательно смотря на плёс и внимательно слушая музыку, она тихо сказала:

— «Лебединое озеро»... Адажио...

Я поморщился. Тьфу, задавака! Такое говорит, что и в толк не возьмешь.

А Кукурузо напустив на себя серьезность и, нахмутив брови, говорит:

— Нет, — говорит, — это озеро скорее не Лебединое, а Утиное, потому что лебеди у нас не водятся. Зато уток — как ряски.

Валька вдруг как захохочет:

— Ой, держите меня! Ой, не могу! Вот чудак! Я же не про это озеро, а про музыку. «Лебединое озеро», — балет композитора Чайковского. Как раз это сейчас передают.

Лицо Кукурузо словно ошпарили. Вся кровь, какая только была в его организме, бросилась в лицо.

— Можно подумать, что я не знаю, — сердито буркнул он. — Прекрасно знаю этот знаменитый балет. А про наше озеро я просто так сказал. Для интереса... Для смеха.

Я отвернулся. Не могу я смотреть в глаза человеку, который врёт. А Кукурузо врал сейчас бессовестно. Ничего он не знал, никакого «Лебединого озера». Потому что слух у него препоганый. Петь он мог только со мной. Подтягивать.

Я досадовал на Вальку из-за того что она заставила моего друга так врать. И вообще, что она пристала к нам?

И вдруг, как бы подслушав мои мысли, Валька резким движением выключила приёмник и сказала:

— Вы на меня сердитесь, мальчики, да? Что я пришла к вам и пристаю, да?.. Но сейчас уйду. Вы не сердитесь. Просто мне хотелось познакомиться с вами.

И так она это как-то просто сказала, что мне даже стало неловко. И ни я, ни Кукурузо не решили, что ответить.

Валька поднялась, сунула Кукурузо в руки приёмник и побежала к костру.

— Чудачка какая-то... правда? — пожав плечами, смущено произнес Кукурузо.

— Она классная, — неожиданно покраснев, сказал Игорь. — У нас с ней все дружат. А почему ты не включаешь приёмник? Ты включай, не стесняйся. Я недавно поменял батарейку.

Я внимательно посмотрел на него и понял, что он нарочно меняет тему разговора, что больше о Вальке говорить не стоит. Я хорошо его понял. Мне тоже было бы неприятно, если бы кто-нибудь говорил о Гребенючке.

Я не знаю, сколько мы еще просидели на берегу у пенька, но вскоре от костра послышался голос вожатого:

— Игорь, мальчики, скорее сюда! Уха готова!

— Пошли! — сказал Игорь.

Я как выпил утром стакан молока, то больше и крошки во рту не держал — был теперь голодный, как арестант, и это предложение мне очень понравилось. Думаю, что Кукурузо есть хотел не меньше меня, потому что из-за всех ночных переживаний, наверно, совсем не завтракал.

Но он неожиданно сказал Игорю:

— Ты иди, а мы тут посидим. Мы только что перед вашим приездом хорошо позавтракали.

Я подмигивал ему и открыл рот, но промолчал.

— Да не выдумывайте, ребята, идемте! Такой ухи вы сроду не ели, — уговаривал Игорь.

Кукурузо упорно отказывался. Я, глотая от голода слюни, вынужден был его поддерживать. Наконец Игорь махнул рукой:

— Да ну вас! Подождите, я сейчас вожатого к вам приведу. — И побежал к костру. Но через минуту вместо вожатого прибежала длинноногая Валька. И сразу накинулась на нас:

— Что это такое? А ну бегом есть уху! Если бы вы меня приглашали — что, я разве отказалась бы? Я бы отказалась, если вы меня приглашали?! А ну, быстро!

И, к моей радости, Кукурузо, который так упорно отказывался перед Игорем, тут неожиданно смутился и покорно поплёлся за девочкой. И снова

я почему-то вспомнил Гребенючку...

Не знаю, то ли, может, я просто был очень голодный, то ли правда уха была вкусной, но мне показалась, что я сроду такой не ел. Я же разбирался в ухе. У нас в селе умели её варить, да и сам я варил не раз. Но это была умопомрачительная — такая вкусная. Все причмокивали и хвалили Сашку-«штурмана». А он сидел возле казана с половником в руках и, как всегда накупившись, внимательно следил кому дать еще.

Вскоре все понаедались, и улеглись на траве возле костра — отдохнуть. Кто-то первый замурлыкал песню, кто-то подтянул и песня выросла, окрепла и полилась над плёсом, даже камыши пригнулись...

Ревет и стонет Днепр широкий,
Сердитый ветер завывает...

Как было приятно вот так лежать на траве вверх лицом, смотреть в безбрежную синеву неба и петь хором песню! Казалось, все земля, весь мир её слышит.

Вожатый тихонько встал, пошел к лодкам и вернулся с аккордеоном. Песня зазвучала еще лучше, еще слаженнее.

Я бы никогда бы не подумал, что у Сашки такой чистый, звонкий и высокий голос. Вот тебе и чудаковатый «штурман» Сашка. Мало того, что знатный повар, так еще и такой певец!

Пели мы часа полтора, а может, и больше. Каких только песен мы не спели! И украинские народные, и современные, и из мультфильмов, и из кинофильмов...

Потом Игорь сказал:

— А теперь, может, пусть Валька станцует...

«Сейчас будет важничать, а её упрашивать», — подумал я.

Но она сказала безо всякого:

— Пожалуйста. Могу станцевать.

Тут я заметил, что Кукурузо почему-то покраснел и беспокойно заёрзал на месте. Впрочем, я еще и раньше, когда пели, заметил, что мой дружок Кукурузо постоянно смотрел на Вальку, а когда она случайно поднимала глаза на него и их взгляды встречались, он сразу начинал рассматривать землю.

— Украинский танец козачок! — объявил вожатый и заиграл на аккордеоне.

Валька начала танцевать. И произошла удивительная перемена.

Нескладная длинноногая Валька в миг превратилась в стремительную летящую птицу, каждое движение которой сливалось с музыкой. И ноги её, те самые тонкие ноги, на которых, казалось, нельзя даже устоять (вот-вот упадешь), эти ноги, едва касаясь земли, словно всё время были в воздухе, в полёте — стройный, сильные и пружинистые.

У моего уха часто-часто, как запыхавшийся, будто это он сам танцевал, дышал Кукурузо. А когда Валька кончила танцевать и все зааплодировали, он не стал аплодировать, а встретившись со мной взглядом, почему-то нахмурился и отвернулся...

Потом Оксана читала стихи. Хорошо читала, только очень кричала, — наверно, даже в селе было слышно.

Вообщем получился такой неожиданный концерт.

А потом начали купаться. Игорь плавал кролем, Сашка-«штурман» — брассом, да и Валька ничего плавала (правда, по-девчачьи, задрав голову и отфыркиваясь, как кошка). Но прыгать в воду с вербы никто не умел. И вот мой друг Кукурузо показал, что такое васюковские ребята. Забрался на самую верхушку, раскачался, как обезьяна, на ветке и ка-ак прыгнет — почти минуту летел и почти на середину плеса залетел. Все только охнули. А вожатый сказал:

— Молодец! Из тебя может выйти хороший спортсмен. Тебе нужно в секцию по прыжкам с трамплина. Молодец!

Кукурузо даже покраснел от удовольствия.

Меня разобрало, и я захотел показать, что я тоже геройский парень. Я поплевал на руки и полез на вербу. Но меня постигла неудача. Досадная, ужасная неудача. Я зацепился за сучок и разорвал трусы с низу до самого пупа, даже резника лопнула. О том, чтобы прыгать, не могло быть и речи. Я бы потерял трусы в полёте. Придерживая своё несчастье одной рукой и чуть не плача от стыда, я бесславно спустился вниз. Но никто не стал насмехаться надо мной: «Ничего, бывает. С каждым может случиться», — успокаивали меня все. Я только скулил и досадливо махал свободной рукой. Девчонки предлагали мне зашить трусы. Я категорически отказывался. Сидеть без трусов, пока девочка будет зашивать, — лучше утопиться! Я взял у них иголку с нитками и полез в шалаш — зашивать свой позор. Там, в полумраке, долго и неумело тыкал иголкой, прокалывая себе пальцы и глотая слёзы стыда. Неожиданно взгляд мой упал на книжку, которая лежала в углу шалаша, прикрытая листьями. Я заинтересовался, потянул её. Это была «Грамматика». Я сначала удивился, но потом вспомнил, Кукурузо же взял её, чтобы замылить глаза деду.

В «Грамматику» была вложена тетрадь. Я развернул эту тетрадь (пусть

простит мой друг моё любопытство). На первой странице начинался «Дневник Робинзона Кукурузо». Что это такое — вы уже знаете: «приключения» и «неприятности» первого дня. «А что дальше?» — поинтересовался я. Перевернул страничку и вытаращил глаза. Дальше шли упражнения. Почти пол тетради было исписано упражнениями по грамматике — и на глаголы, и на существительное, и на прилагательные.

Упражнения были написаны карандашом — так же, как и дневник. Сомнений не было — всё это писалось уже тут, на острове. Так вот оно что!

Робинзон Кукурузо, который собирался прожить на необитаемом острове двадцать восемь лет два месяца и девятнадцать дней, готовился к осенней переэкзаменовке.

Ну ты хитрец! Твоя гордость, твоя неукротимая гордость заводилы и атамана не позволяет тебе сознаться, что ты усердно готовишься к переэкзаменовке, и ты сбежал от людских глаз на остров, и там зубришь грамматику. Теперь понятно, почему ты именно так назвал свой остров... Ну, стой! Ну, подожди! Я тебе...

А впрочем, что «стой», что «подожди»? Разве я скажу ему что-нибудь? Разве я хочу, чтобы он провалился, чтобы он остался на второй год?

Да нет! Конечно же, нет! И я ничего ему не скажу, ни слова, ни полслова. Пусть думает, что я ни о чем не догадываюсь. Пусть думает!

Я быстро положил тетрадь и «Граматику» на место и присыпал листьями, словно и не трогал.

От этого открытия мне стало сразу легко и весело — точно после дождя солнце засветило. Про стыд свой и думать забыл. Быстро зашил я трусы и совсем другим человеком выскочил из шалаша. Все заметили перемену в моём настроении и теперь смело начали улыбаться.

А Кукурузо сказал:

— Великое дело трусы. Без трусов — нет человека, а в трусах — есть человек, еще и улыбается, — и хихикнул, подмигнул Вальке. Ему хотелось быть остроумным сегодня. И хотя дурацкая была его острота, я не обиделся.

Неожиданно с плёса зазвучало:

— Ого-го! Вот вы где!

К острову подплывала еще одна лодка. В лодке сидели Гришка Бардадым и несколько наших мальчишек-юннатов.

— Почти час вас ищем, — сказал вожатому Бардадым, вылезая на берег. — Нас Фарадеевич прислал. Приглашает вас к себе. Хочет показать

свои новые сорта овощей и фруктов и угостить.

— Ой! Зачем я наелась! — отчаянно закричала Оксана.

Все засмеялись.

— Ничего! Пока доедем — утрясется, — успокоил вожатый. — Ну что же, друзья, собираемся!

Началась суматоха.

— О! А вы что тут делаете, босяки! — удивленно воскликнул Бардадым, заметив нас.

— У них дело! Секретное! — таинственно сказала Оксана.

— Что-о?! — скривился Бардадым. — Дело? Какое дело? У этих вот? У этих вот шалопаев? Врут они! Это же известные на всё село босяки. Наверно, что-то уже придумали, какую-нибудь пакость. Кроме пакостей, никаких делов у них не бывает.

Никто даже не засмеялся. Наверно, все испытывали неловкость и молчали.

Мы стояли красные, как два помидора.

Мы готовы были провалиться сквозь землю.

Эх! Если бы мы были здоровые, как ты!

Мы бы тебе показали! «Делов! Делов!» — говорить сперва научись!

— И ничего они не босяки, а хорошие мальчики! — выкрикнула вдруг Ваька.

— Конечно! — подхватил Игорь.

— Хорошие-хорошие-хорошие! — заверещала Оксана.

— Только так! — сказал Сашка-«штурман».

— Ну пусть! Пусть! Пусть! — замахал руками Бардадым. — Вы — наши гости, не будем ссориться. Поехали быстрее! Фарадеевич давно ждет.

Нас окружили Игорь, Валька, Сашка-«Штурман» и другие. Зазвучали возгласы:

— Прощайте!

— До свидания!

— Будьте здоровы!

Мы всем по очереди пожали руки. И тут Валька, протягивая руку Кукурузо, сказала:

— Жалко, что мы не узнаем, как закончилось ваше секретное дело...

Она сказала это с таким искренним сожалением, и я заметил, как снова покраснел Кукурузо. И вдруг в глазах у Вальки вспыхнули искорки:

— А вы знаете что! А вы напишите нам! Я вам оставлю адрес, а вы напишите. Хорошо?

— Конечно!

— Напишите! Напишите! — зазвучало отовсюду.
А Валька уже писала на какой-то бумажке адрес.
— На, — сказала она, протягивая бумажку Кукурузо. — Только смотри, не потеряй!
Кукурузо ничего не сказал — молча засунул бумажку за пазуху.
Они сели в лодки.
— Запоём что-нибудь веселенькое на прощание! — предложила Валька. — Запевай, Сашка!
— И они запели!..
Мы долго стояли на берегу, их давно уже не было видно, а их веселая песня звучала из-за камышей и разносилась по всем плавням:

Роди-и-ился я в селе-е,
папа и ма-а-ама — учителя-я,
А мой дядька — комбайнер
он лодку мне припер!
Мы плывем в желтой лодке,
в желтой лодке, в желтой лодке!
И наша лодка скребет по дну,
скребет по дну — скряб, скряб!

(Поётся на мотив знаменитой битловской песни «Yellow submarine». Примечание длинноногой Вальки).

А потом Кукурузо лежал в траве на поляне и молча смотрел в небо. Я тоже лежал и смотрел. Небо — это такая штука, что смотреть в небо можно часами. Смотреть и думать. Я не знаю, что думал Кукурузо, но я совсем не удивился, когда он вдруг вздохнул и сказал:

— Да, сейчас техника, это не то, что... а вообще... конечно... Говорят, в такой пуговке — приёмник, в портсигаре — телевизор. А фотоаппарат — тот вовсе под ноготь спрятать можно...

— Что же ты хочешь — на транзисторах, на полупроводниках, — сказал я и покраснел. Убейте меня, если я хотя бы приблизительно знал, что такое транзисторы или полупроводники. Да и Кукурузо, конечно, тоже. Ничего мы не знали. Ничегошеньки... А Игорь знал. Конечно, знал, если сам сделал приёмник на этих транзисторах.

Кукурузо вдруг вздохнул и мечтательно произнёс:

— А хорошо было бы сделать что-то такое... На транзисторах. Интересное и необычное. Например... Например, управление коровой на

расстоянии по радио. Между рогами натянута антенна. В ухо вставлен маленький приёмник (на транзисторах, конечно).

Пасти такую радио-корову — одно наслаждение. Сидишь себе где-нибудь за три километра на бахче у деда Салимона, уминаешь арбуз сладкий-пресладкий (я больше всего самую середину арбуза люблю. А ты? Ага... Так-так). Вот так сидишь, хрумкаешь арбуз. Потом посмотрел в карманный телевизор, видишь — твоя Манька в потраве, в колхозном просе. Нажимаешь кнопку, и:

«Манька-а! А ну вернись, проклятущая». И Манька — как если бы её кнутом стегнули — назад. А ты снова сидишь и уминаешь арбуз. Красота!.. Скажи, а?

И сразу Кукурузо оживился — не умел он долго сидеть и раздумывать. Он был человеком дела.

— Ну, хватит, об этом потом... А теперь давай подумаем, как мы будем Кныша ночью задерживать.

— Что?! Задерживать?! Как же его удержишь? Он же нас утопит, как котят.

— Утопит? В ружьё зачем? Ты что, думаешь, для такого дела нужны люди и колья? Ружьё — это не шутка. Это оружие. Бац — и будь здоров!

— Ты что, собираешься в него стрелять? — со страхом спросил я.

— Ну вот тебе сразу стрелять! Не стрелять, но... если что... Вообще, ружья кто хочешь испугается.

— Конечно, — согласился я. — Только как же... Я... ночью... а дома? Тебе хорошо, ты на необитаемом острове, тебе отпрашиваться не у кого. А я...

— Да отпросись. Подумаешь! Что-нибудь придумай.

— Что?

— Ну, что на рыбалку идешь или еще что-нибудь.

— Я и так на рыбалке сейчас.

— Да ты что — маленький! Тут такое дело, можно сказать, государственное, а он.

— Ну хорошо, что-нибудь придумаю. Только мне придется сейчас домой ехать.

— Езжай, а я что...

Я сел в лодку.

Лицо у Кукурузо было грустным и хмурым. Видно, ему очень не хотелось оставаться одному на острове. Он ходил по колону в воде вокруг лодки и ощупывая борта, бормотал: «Вот тут надо было зашпаклевать, а тут просмолить, а эту доску вообще заменить».

Ему хотелось еще что-то сказать, он почесал за ухом, шмыгнул носом и наконец сказал:

— Ты знаешь... Ты бы привез мне нытиков. Хоть один. Захотелось, как перед смертью. А то всё рыба да рыба.

Нытиками называли у нас глазурованные пряники, что продавались в сельмаге. Высохшие и твёрдые, как дрова, они ноют, когда вгрызаешься в них зубами. Один нытик можно есть целый день. Может, за это мы и любили их.

— Хорошо, привезу, а как же, — сказал я и оттолкнулся от берега.

Глава 19

Во сне и наяву

— Где ты целый день бегаешь не евши? Смотри, даже глаза ввалились, — укоризненными словами встретила меня мать.

— Да вы что, мама! Я ухи вот так наелся. Ох и вкусная! Там один Сашка такой мастер оказался — лучше любого повара, — я так неожиданно обмолвился, что едва успел закрыть рукой рот, чтобы совсем не проговориться. Мать заметила мой жест и, подозрительно глянув на меня, спросила:

— О каком это ты Сашке?

— Да про... про... Юрчишина, — начал выпутываться, словно выюн из сети. — Ну тот, знаете, что у мельницы живет, дядьки Михаила сын.

А сам аж изнываю внутри. А что, если мать его сегодня в селе видела? Пропал тогда. Нет, пронесло! Мать ничего не сказала. Значит, не видела.

— И что — хорошо клевало? — ласково улыбаясь, спросила мать.

— Плохо! Едва на уху наловили, — не краснея, врал я. — Мы сегодня на ночь собираемся. На плесы. Пустите?

— Посмотрим, посмотрим. Иди-ка дров наруби, а то у меня все кончились.

И я, обрадовавшись, что всё обошлось, побежал рубить дрова.

До обеда я волчком возле матери крутился — то воды принесу, то помои вылью, то в хате подмету. Такой хороший, такой покладистый. А что поделаешь, нужно же, чтобы на ночь отпустили. Кукурузо же ждет.

После обеда почему-то глаза у меня слипаться начали — давали знать ночные приключения. Прилёг я под грушей в холодке и сразу провалился в сон, как топор в воду. И приснилось мне что-то странное. Не сон, а просто кино.

Стою я, значит, на берегу острова Переэкзаменовки. Стою и вижу, выплывает на плёс корабль, огромный белый океанский корабль (я такие только в кино видел), трехпалубный, а труба больше, чем вся наша хата. Я стою и удивляюсь: как это он через узенькие стружки в камышах проплыл? Но не успел я хорошо насмотреться, как с корабля спускают трап и по трапу идет на берег... Гребенючка. Подходит ко мне и говорит^

— Приветствую вас. К вам на остров приехала немецкая делегация школьников. Вы будете переводчиком.

Я удивленно смотрю на неё, и мне хочется сказать: «Что это ты,

дурище, меня на „вы“ называешь?». Но я почему-то вежливо отвечаю:

— С большой радостью. Но хочу напомнить вам, что в школе я изучаю, как вам известно, английский и по-немецки говорю не очень хорошо. По-немецки я знаю лишь три слова: дер Тиш, дер Штуль и дер Бляйштифт.

— Ничего, — говорит Гребенючка, — вполне достаточно. Принимайте гостей. Вот они, пожалуйста.

Я смотрю и вижу, что по трапу спускаются Игорь, Сашка-«штурман» и Валька.

«Вот оно что! Так они, оказывается, немецкие школьники, а не наши».

Мы идем по острову и подходим к шалашу. Около шалаша стоит Кукурузо и ковыряет в носу.

— Знакомьтесь. Губернатор острова Переэкзаменовки Робинзон Васильевич Кукурузо, — говорю я, как мне кажется, по-немецки, а сам думаю: «Тьфу! Почему это я его губернатором назвал? Что он, иностранец, что ли? Он же наш, украинский Робинзон. Надо было, наверно, сказать — председатель сельсовета. Но как же тут сельсовет, когда он на острове один».

Между тем Кукурузо говорит:

— Пожалуйста!

И мы входим в шалаш. Входим в шалаш и оказываемся в большой светлой комнате, где всё белое, как в больнице. Посредине на белом столе стоит блестящая никелированная кастрюля.

— Кастрюля, — поясняет Кукурузо. — На транзисторах. Сама варит. Без огня.

«Ты смотри. Вот чертов Кукурузо! Всё-таки понавыдумывал это... на транзисторах».

— Дер Штуль? — спрашивает вдруг Валька.

— Дер Бляйштифт, — отвечаю я и сам удивляюсь, как складно выходит. Ведь она спросила: «Слушайте, а как ваше секретное дело?». А я отвечаю: «Всё хорошо, не волнуйтесь?»

Какой хороший немецкий язык! Одно слово сказал — и всё понятно. Нужно будет на следующий год попроситься в школе в немецкую группу. Обязательно. Отличником у них стать — раз плюнуть. Теперь я понимаю, почему все они: и Валька, и Игорь, и Сашка — отличники.

И тут я вдруг вижу: позади Вальки стоит в капитанской форме... Кныш. А возле него — голый, в маске и лапах, Бурмило.

«Вермахт... Подарочек от немцев... Двадцать железных... Сегодня ночью...» — вспоминаю я, и все во мне пошло-поехало вниз.

А Кныш подходит ко мне и грозно говорит:

— Даме всегда надо уступать место! — и изо всех сил толкает меня в грудь.

— Только так! — слышится голос Бурмилы.

И я лечу, лечу, лечу — куда-то в пропасть. Шлёп и проснулся.

Вот такая чертовщина приснилась мне.

И сразу вспомнил, что мне нужно ехать ночью в плавни. Что «сегодня ночью» — именно сегодня ночью. И так мне сделалось тревожно, что и передать нельзя.

Матери не было — пошла в поле. Отец с утра на работе. Нигде никого. А тут еще этот сон... Не мог я сидеть в одиночестве. К людям меня потянуло. На улицу. Как хорошо всё-таки, что есть на свете люди! Вон голопузая детвора соседская в колее заболоченной кораблики пускает, а всё равно: глянешь на них — и легче.

Заглянул я во двор к Реням. Дед Варавя сидел на завалинке и правил косу.

«Эх, ничего вы, дедушка, не знаете, где сейчас ваш дорогой внук Ява, — подумалось мне. — Если бы вы знали, не сидели бы так спокойно. А ночью его сегодня неизвестно что ожидает! Настоящая военная операция. Может, и стрелять придется! Эх!». Проскочил я мимо открытой калитки, чтобы не заметил меня дед (а то еще, чего доброго, расспрашивать начнет!).

Иду по улице.

«А может и не приедет Кныш? Заболеет или еще что. Всякое же бывает. Но — нет, навряд ли. Такие не болеют»,

Навстречу Галина Сидоровна.

— Добрый день! — здороваюсь с ней уважительно, а в душе: «Прощайте, Галина Сидоровна! Может и не увидимся больше...».

Иду дальше.

И вдруг...

— Что ты нос повесил? Снова что-то натворил и мать ремня дала? — услышал я неожиданно. Поднял голову. У колодца, с ведрами и коромыслом, стояла Гребенючка. И смотрела на меня улыбаясь. — И почему это ты один? А где же твой переэкзаменовщик? Поругались, может?

Наверно, надо было ей сказать что-то резкое и язвительное: «Не твое свинаячье дело», но мне не хотелось, и я просто сказал:

— Он в Песках, у тётки.

— А ты, бедненький, ходишь и плачешь.

И снова я удержался от обязательного в таких случаях: «Сама ты

плачешь. Вот вытри под носом», — а честно признался:

— Не плачу, но скучаю.

Мой необычно спокойные ответы, наверно, удивили и растрогали Гребенючку. Она глянула на меня с искренним сочувствием и сказала:

— Так почему ты к школе не приходишь, на площадку? Мы там всегда в волейбол играем и в другое.

— Да-а... — невнятно протянул я. И мне вдруг очень захотелось рассказать ей и про остров, и про Кныша с Бурмило, и даже про сон, что приснился мне сегодня. Я едва сдержался. Если это была только моя тайна, я бы, наверно, рассказал. Но — Кукурузо! Он бы никогда не простил мне это. Как тяжело иногда быть верным другом!

И еще я неожиданно подумал: «А умеет ли Гребенючка танцевать козачок?» И хотя я не знал, но почему-то решил, что наверно, умеет.

Пока мы говорили, она опустила ведро в колодец и теперь начала вытягивать, крутя двумя руками ворот. Я сначала смотрел, потом в душе махнул рукой: «А! Кукурузо всё равно не видит!» — и сказал:

— Давай помогу.

Она ничего не ответила, я взялся за ручку, и мы начали крутить вдвоём. Мы крутили так рьяно, что ведро качалось там, в глубине, стучалось о сруб, и слышался бесконечный плеск, как в водопаде. Когда мы вытащили, воды было всего полведра. Мы взглянули друг на друга и засмеялись.

— Давай еще.

Мне было очень весело вот так вдвоём крутить ворот. Наши руки соприкасались, мы толкали друг друга, а один раз даже стукнулись лбами. И всё время смеялись. Стало жалко, когда ведра уже наполнились.

Она прицепила их на коромысло, взяла на плечи и пошла пошатываясь. Где-то в глубине шевельнулась у меня мысль: надо было ей помочь, поднести хоть до ворот. Но на это уже у меня не хватило пороха. И я лишь молча смотрел ей вслед. И думал, что на необитаемом острове я бы не жил ни за что на свете. Даже за мотоцикл с коляскою.

«Прощай, Ганя! Может, мы и не увидимся больше... И ты всю жизнь будешь вспоминать эту нашу встречу у колодца... Ой! — вспомнил я внезапно. — Кукурузо же нытиков просил привезти. А скоро же магазин закроется».

И тут, как палкой по голове, стукнула меня мысль: «Ой! У меня денег ни копейки. А нытик девять копеек сто грамм! Что делать? Когда мать или отец придут, продмаг будет закрыт».

Гребенючка уже входила в свою калитку.

— Гр... Гр... Ганя! — позвал я, едва не впервые называя её по имени. Она покачнулась и даже выплеснула воду от неожиданности.

— Ганя, — подбежал я к ней, — подожди! Знаешь что, одолжи мне девять копеек. Мама с работы придет, я сразу отдам.

— Зачем? — лукаво посмотрела она на меня. — На папиросы? Да? На папиросы?

— Да какие там папиросы? Очень надо... Я на рыбалку на ночную иду. Крючков купить, а то сельмаг закрывается. Честное слово, отдам. Одолжи.

— Только у меня девять нету, у меня пятьдесят копеек целых. Мама на книжку дала. Ох, хорошая книжка продаётся!..

— Да я сдачу принесу. Я быстро.

— Подожди, я вынесу.

Короче говоря, нитики я купил. Гребенючке сдачу отнес, а когда мама пришла, и долг отдал. Всё вышло хорошо. Даже не пришлось долго просить у матери девять копеек. Сразу дала. И на ночь отпустила.

Вот что значит быть хорошим и выполнять всё, что тебе велит мама!

Еще и еды напаковала целый мешок — будто я на месяц уезжаю путешествовать.

И когда зашло солнце, я отправился. По дороге в сених прихватил длинную веревку, на которую мама когда-то привязывала бычка. «Кто знает, может, придется связывать, так чтобы было чем», — подумал я, ощущая при этом холодок в животе.

Глава 20

«Руки вверх»

Кукурузо с удочкой в руках торчал по пояс в воде возле берега. Торчал, наверно, давно, потому что уже посинел, как бузина, и стучал зубами.

— Нечего сказать, спешишь ты, как свёкор пелёнки стирать. Я уже думал, что ты совсем не придешь, — сердито пробормотал он, но я видел, что он прячет радостную улыбку. Он всё же боялся, что я не приеду, и обрадовался, когда увидел меня.

Кукурузо вышел из воды и начал размахивать руками и приседать, согреваясь. Потом спросил:

— Ну как там? Что нового? Как мой дед? Еще в милицию не заявил.

— Да ты что! Сидит себе спокойненько и косу клепают. О тебе и не думает.

Кукурузо нахмурился. И я понял, что ему неприятно это слышать. Ему, наверно, казалось, что он уже долго-долго на этом острове, а оказывается, никто даже не заметил его отсутствия.

— Ну и правильно. Ну и хорошо. Скоро вообще все забудут, что был такой... И всё будет хорошо, — бодро говорил он, но в голосе слышались печаль и тоска. Кому же хочется, чтобы его все забыли!

Я вытащил мешочек с нытиками и протянул ему.

— О! Всё же привез! Спасибо! Так соскучился — и он сразу впился зубами в нытика.

— Ну, а ты что делал? — спросил я.

— Да что, рыбу ловил и просто так...

— Ну, а дневник свой ты хоть пишешь?

— Нет, не пишу, — легкомысленно произнес он, жуя нытик. — Бросил. Это же всё равно, что уроки готовить. Разве я для этого на необитаемый остров забрался.

Я ничего не ответил: я же знал, что там — в дневнике.

— Слушай, давай в чижа сыграем. Я так давно не играл! — попросил неожиданно Кукурузо.

— А что, можно, — согласился я.

И старые стреляные селезни, лупоглазые лягушки, пугливые камышовки, и другие жители плавней впервые в своей жизни услышали удалое и протяжной:

— Чурки-палки-наковалки накую-ю-ю...

Дотемна играли мы с Кукурузо. Прекратили только тогда, когда уже ни чижа, ни палки не было видно.

Еще во время игры, чем больше темнело, тем больше беспокойство охватывало меня. Я, конечно, старался не показывать его Кукурузо, но с каждой минутой что-то всё больше не давало покоя.

А когда совсем стемнело, я уже был, как это говорят, готовый: едва сдерживался, чтобы не стучать зубами.

— Ну поехали на Высокий, — сказал Кукурузо. Он вытащил из шалаша ружьё, зарядил.

Мы сели в лодку. Кукурузо на носу с ружьём, я грёб. Ночь, как на зло, снова была облачная, беззвездная, будто кто-то накрыл землю черным полотном.

— Значит, план такой, — шептал Кукурузо. — Я с ружьём, ты — с фонариком. Я говорю: «Руки вверх», ты в это время светишь фонариком и кричишь: «Товарищ Валигура, заходите справа! Николай Иванович, заходите слева!». Чтобы он думал, что нас много. Так даже настоящие пограничники делают, когда задерживают шпиона.

— А... а что мы потом делать будем? Когда задержим его? — поинтересовался я.

— Как — что? Передадим в милицию. Валигуре передадим.

— Так, значит, ты свой остров покинешь и не будешь больше Робинзоном? Раскроется же всё.

Ох, и зачем я это сказал!

— Нет, ни в коем случае! — решительно прошептал Кукурузо. — Я остаюсь на острове. А ты повезешь его в милицию.

Мне стало совсем плохо. Я едва не выпустил весло из рук.

— Да что... да как... да ну... — залепетал я.

— Подумаешь! Отвезешь к милиционеру, товарищу Валигуре. И всё.

— Да Валигура же еще и спрашивать будет, — чуть не заплакал я. — Что же я с этим ворюгой делать буду ночью один? Он же меня придушит.

— Не бойся! Я тебе дам ружьё. Потом привезешь.

— Н-не надо. Н-не давай! — теперь уже я решительно прошептал. — Я б-боюсь. Я ружья боюсь еще больше, чем Кныша. Случайно выстрелю, убью его, и меня тогда расстреляют.

Я уже окончательно понял, что у Кукурузо никакого плана не было. Он всё продумал только до того момента, когда скажет: «Руки вверх!» — и Кныш встанет, шатаясь, с поднятыми руками. А дальше, оказывается, всё должен делать я. Дудки!

— Нет! Так не будет! Я один Кныша не повезу, как хочешь.

— Да хватит уже! До села вдвоём довезем, а потом я вернусь. Вот нюни распустил! Не знал я, что ты такой боягуз!

Мне стало стыдно. Кукурузо всё-таки был намного храбрее меня. Иш, как держится уверенно!

Мы пристали к Высокому острову. Минуты две сидели в лодке тихонько, затаив дыхание, — прислушиваясь, нигде ни звука. Бурмило нет (лодки не видно). Послушался таки Кныша, остался дома, чтобы не мешать...

Загнали мы свою лодку в камыши, замаскировали. Сами залезли в кусты на берегу — я с одной стороны тропинки, что к озеру ведет. Кукурузо — с другой. Теперь нам оставалось одно — ждать, долго ждать, может, даже целую ночь, до самого рассвета, пока приедет Кныш.

— Спать нельзя. Ни минуты. А то как начнем клевать носом, разморит, — будем, как мокрые куры, и ничего не получится, — тихо сказал Кукурузо.

— Твоя правда, — вздохнул я. Мне уже сейчас хотелось спать

Я широко открывал глаза, всматриваясь в темноту, в которой едва-едва можно было различить на фоне неба очертания камышей, но глаза сами собой закрывались, и приходилось то и дело их протирать.

Наверно, нет ничего тяжелее, как не спать, когда хочется спать. И, наверно, нет более длительных минут, чем эти минуты полусонного ожидания в темноте.

— Не спи, а то прозеваем, — шипит из кустов невидимых Кукурузо.

Если бы он знал, как мне хочется именно прозевать! Но разве с ним прозеваешь, с таким упорным? Неужели он и правда не боится?

Воображение рисует мне страшные картины: Кныш, хищно оскалившись, бьёт меня весло по голове, потом кидает в речку, я глотаю воду, задыхаюсь-задыхаюсь, водоросли опутывают меня и... Мне даже и правда стало тяжело дышать. И зачем мы ввязались в это дело? Действительно, невесть что может быть. А что, если случится то, что я только что представлял? Это еще хорошо, если найдут наши тела. Тогда будут шумные похороны, с музыкой, с речами.

Хоронить будет вся школа, всё село. Все будут плакать. И Гребенючка, размазывая слёзы по щекам, проговорит: «А я же видела его накануне. Он был такой хороший, такой вежливый — помогал мне вытащить воду из колодца. И Ганей называл. Я еще девять копеек одолжила. Если бы знала — я бы ему пятьдесят отдала насовсем. Какой был мальчик!».

Мне стало так жалко себя, и я казался себе таким несчастным, что начало щемить в горле.

Но Кукурузо ничего этого не понимает. Он снова шипит из кустов:

— Не спи!

И я трагически шепчу в ответ:

— Да не сплю я, не сплю, что ты!

Время идет. То ли глаза привыкли к темноте, то ли становится светлее, но уже лучше видно камыши, и вода блестит, и клубятся в небе облака. А может, это уже светает? А то у меня такое чувство, что мы сидели целую вечность.

И вдруг — будто кто-то кольнул меня чем-то острым в грудь. Из темноты вынырнула лодка. Она плыла прямо к берегу. Ближе, ближе. В лодке грозная фигура гребет веслом.

Сердце повисло у меня на тоненькой ниточке — вот-вот оборвется. И тут в кустах клацнул курком Кукурузо и срывающимся голосом басовито приказал:

— Р-руки вверх-х!

Я забыл о фонарике, забыл, что мне надо кричать, и панически крикнул:

— Дядя милиционер, сюда! Дядя милиционер, туда!

И замер, испугавшись собственного голоса.

«Ой, что же мы делаем! Что мы делаем! Он еще ничего шпионского не делал, а мы уже: „Руки вверх!“ . Ой, что же будет!».

— Руки вверх! Руки вверх! — снова, но уже не так басовито повторил Кукурузо и тоже растеряно замолчал.

Какое-то мгновение было тихо, потом...

— А? — словно не расслышав, спросила, грозная фигура. И...что-то глухо ударило о землю — это выпало из рук Кукурузо ружьё. А я во всю ширь раскрыл от неожиданности рот. И, только сейчас, вспомнив о фонарике, сжал его рукой.

Перед нами был... дед Варава.

— Дедушка, это вы? — плаксивым, растерянным голосом спросил наконец Кукурузо.

— Да я это, я, — сказал дед, вылезая на берег. — Не узнали, желторотики?

Мы молчали. Кукурузо, видно ждал и боялся дедовых расспросов — почему наврал что идет к тетке в Пески, где был, что делал, почему это — «руки вверх»... Но дед молча замаскировал свою лодку в камышах и ничего не спрашивая, словно он всё-всё знал. В таких случаях всегда лучше самому что-нибудь спрашивать.

И Кукурузо наконец несмело спросил:

— Дедушка, а как вы тут оказались?

— Топиться ехал. С горя. Из-за того что у меня такой внук шалопай.

— Да не шутите, дедушка.

— Вот, интересно мне с тобой шутить!

— Ну скажите, дедушка — канючил Кукурузо.

— Ты же мне соврал, почему я должен правду тебе говорить?

— Да я... — запнулся Кукурузо. Что же тут скажешь?

— Эхе-хе, — печально вздохнул дед. — Куда же я мог ехать! Тебя, дурачка, искал... Так вот взялся я сегодня ружьё своё чистить. В воскресенье же открытие охоты. Решил и твоё почистить. Думаю, хоть и двоечник ты, а жалко — всё же надо из тебя охотника делать. Бросился — нет твоего ружья. Туда, сюда — нет. Неужели, думаю, кто-то украл? Потом глядь — патронов почти половины нет (они же у меня, дурачок, подсчитаны). Начал догадываться. Тем более, вижу, и ватника нет, в котором ты со мной на охоту ходил. Но всё же решил проверить. И пошел в Пески к тетке Ганне... Вот так ты мои старые ноги жалеешь! Туда семь километров, назад семь. Там тебя, понятно, не нашел. Ганне не стал ничего говорить, чтобы не волновалась. Ну, думаю, не иначе как в плавни парень подался, чертенок. Я и сам туда еще мальчишкой когда-то убежал после того, как отец всыпал за разбитую макитру. Знаю... Пришел я из Песков — уже темнело. Надо было на утро поиски отложить, да и на душе беспокойно: «Уже два дня этот желторотик один в плавнях (Потому что дружка твоего я видел), а я, старый дурень, и ухом не веду. Может, он голодный, может, случилось с ним что. Всё-таки плавни — это не шутка. Не один фашист себе здесь могилу нашел... Чем дома сидеть, дай, думаю, поеду поищу». И поехал. Если бы не эти «руки вверх», наверно бы, старый до утра по плавням мотался, как водяной. Вот так-то.

Кукурузо все мог ждать: что дед ругаться будет, что даже надерет уши, как бывало. Он притих и замолк.

— Эх, неужели я помру и не увижу выйдет из тебя человек или нет? — с болью спросил дед.

— Не говорите так, дедушка, не помрете вы, — испуганно пискнул Кукурузо.

— Ты что думал — дед вечный? К девяноста уже подходит. Вот-вот — и в яму кувырком. Уже недолго.

— Я, может, еще даже раньше вас помру. Вон, помните, как у меня чирей на ноге был и температура сорок... Так что не говорите.

— Э, сынок, молодые могут умереть, а старые должны умереть... Так уж заведено. И не нужно в этом соревноваться. Лучше в чём-то ином...

Наступила тишина. Видно моего друга совершенно смутили и взволновали слова деда. Да и меня тоже. Никогда я не видел деда таким. Всегда он бурчал, ругался, подзатыльники даже раздавал, а тут... Эх, лучше бы он нам уши надрал.

— Дедушка, — жалобно произнес Кукурузо, — вы не говорите матери. Я вас прошу. А, дедушка?

— Да что же говорить. Нечем радовать.

— Я учу грамматику, учу, честное слово. И переэкзаменовку сдам.

— Посмотрим...

— Вы думаете, мы балуемся. Мы тут... мы тут...

— Да вижу — выслеживаете кого-то. Кого же это?

— Кныша.

— Оп-па! Чего вдруг?

Кукурузо хотел было начать объяснять, но тут дед вдруг приставил ладонь к уху и тихо сказал:

— Цыц!... Потом... Плывет... Прячьтесь, ребята, посмотрим, в чём тут дело.

Мы притихли. А дед сделал только один шаг к кустам — и будто растаял в темноте. Прошла минута, два, в может, и больше. И только тогда мы увидели — стружки выплыла лодка. Не пойму, как дед Варава мог услышать её. Вот что значит старый охотник!

Лодка пристала к берегу.

Из лодки вылез Кныш.

Что-то звякнуло, упав на землю.

Кныш ругнулся вполголоса, поднял, пошел по тропинке.

Он так близко прошел мимо меня, даже показалось, что он сейчас споткнется о мою ногу, и я быстренько подобрал её под себя.

В одной руке Кныш держал большой железный лом, а в другой — ведро и дуршлаг, такой металлический с дырочками, в каком галушки и вареники сцеживают.

Возле озерца Кныш положил лом на землю, снял сапоги, забрёл по колено в воду и начал дуршлагом собирать что-то с поверхности озерца и стряхивать в ведро.

— Айда, ребята, — шепнул дед и, вышел из кустов, громко кашлянув:

— Кхе-кхе!

От неожиданности Кныш дёрнулся, поскользнулся — бултых! — сел в воду. Только голова из воды торчит, во все стороны растеряно крутится.

— Бог в помощь, добрый человек, — спокойно произнес дед. — Что это вы тут делаете?

— Ку-купаюсь! — глуповато ощерился Кныш и начал неловко подниматься.

— С дуршлагом? Ясно!.. А берите-ка, ребята его сапоги, ломик — арестованный он. Повезем в село — там разберемся...

— Да вы что, дедушка!.. Да что вы, ей-богу!.. — засуетился Кныш, вылезая из воды и брызгаясь во все стороны. — Вот шутят! Хи-хи! Вот шутят!

— Давай-давай! — повысил дед голос.

— Да ну, честное же слово! Да ну, что вы такое говорите!

— Лезь, говорю, в лодку сам! А то свяжу!

— Да постойте, дедушка! Я всё расскажу! Всё, как есть! Не виноват я... ей-богу! Вот святой крест! Это всё она! Проклятущая баба! Тюрьма народов! Сам её ненавижу! Чтобы ей триста болячек! Ей-богу! Ведь как услышала об этом лёбулусе, то завела: «Достань да достань, она пойдет на базаре!» Ну с ножом к горлу пристала. Что ты сделаешь! Пусть уже, думаю, чтобы отцепилась, достану немного. Поехал. А его, оказывается, во-первых, еще нет, а во-вторых — он микроскопический. Как ты им, микроскопичным, торговать будешь? Ну хоть домой не возвращайся! Вы же не знаете моей бабы... Решил я её какой-нибудь другой гадости из воды натаскать, чтобы только не гавкала (разве она разберет?). Обманул её, сам сознательно обманул! Не хотел же трогать — раз ученики такое дело делают. Думал, всё! Обошлось! И торговля идёт, я спокойный. Но несчастная моя доля. Вот вчера узнала об обмане она. Господи, что было! Хоть крестись и беги. «Ты, — кричит, — преступник, ты, — кричит, — уголовник! Я же людям, может, навредила! Если настоящий мне не принесешь — со свету сживу!». Ну что было делать? Ну, поймите, дедушка, разве я хотел? Ей-богу же! Отпустите, пожалуйста!

Кныш замолк, всхлипывая.

Видно, дед заколебался — сопел и кхекал.

— Ой, дедушка, выкручивается он! Как уж! — закричал Кукурузо. — Они тут с Бурмило... в акваланге для подводного плавания... целое лето ныряют.

— Специально в Киеве купили. Мы сами видели, — подхватил я. — Задание у них какое-то... от вермахта. Наверно фашистский архив со дна достают. Как в Чехии.

Кныш даже съежился весь.

— Да вы что, ребята! Что вы! Да упаси Боже! Какое такое задание! Выдумали же такое, ей-богу!

— А что же? — спросил дед.

Кныш немного помолчал, потом сразу горячо заговорил:

— Да знаете, да мы же как раз, дедушка, и о вас думали. Хотели подарочек вам сделать. Хотя вы и непьющий, но на праздник рюмочку можете... Хи-хи! Это же, знаете, узнал я, что в войну немцы тут спирт утопили. Двадцать, говорят, канистр лежат. Герметичны — что им сделается. Так вот думаем поднять. Только вы, дедушка, пожалуйста, никому-никому! Мы вам по дружбе дадим. Даже и не думайте отказываться. Это же такое дело! Пригодится! Хи-хи!..

Кныш засмеялся мелким подлым смехом. Но смех сразу и прервался. По дедову настроению понял Кныш, что смеяться неуместно.

— Ясно, — сурово сказал дед. — А ломик зачем брал?

— Да так просто... просто... — замялся Кныш.

— Хотел плотину разрушить? Чтобы следы замести? Чтобы всё сплыло? Дескать, стихийное бедствие? Так? — в голосе деда зазвенел гнев.

— Да проклятая же баба, — начал Кныш, но дед перебил его:

— Хватит уже! Садись! Поехали!

— Да, дедушка!.. — плаксиво запросился Кныш. — Да мы же с вами соседи! Что вам — больше всех надо? Я же ничего не сделал, не успел же! Отпустите!

— Какие мы соседи! — отрубил дед. — Ты совсем на другой планете живешь! И не смей соседиться к людям. Поехали!

И Кныш сгорбился, и, как побитая собака, послушно пошёл к лодке. А когда мы уже отплывали, дед Варава, ни к кому не обращаясь, тихо сказал:

— А тот спирт партизаны еще в сорок третьем году выловили. Для госпиталя. Надо было старожиллов спросить, перед тем как в воду лезть.

Глава последняя

Вот так закончились приключения Робинзона Кукурузо на необитаемом острове близ села Васюковки.

Следующий после этой ночи день был до предела насыщен знаменательными событиями.

Утром приехал профессор Дудка, руководитель киевских юннатов, а вместе с профессором — корреспондент газеты «Звезда».

Профессор Дудка оказалась молодой красивой женщиной в модном платье с короткими рукавами и в туфлях на тонюсеньких каблучках-шпильках.

Профессор Дудка посмотрела на глобулус и сказала, что это прекрасный штамм хлореллы (именно так она выразилась), что она обязательно доложит об этом в институте, что это большой успех, и горячо пожала руки Фарадеевичу, а потом всем юннатам.

Фарадеевич даже сиял от счастья (к слову, в этот день выписывали из больницы его жену).

Юннаты тоже сияли (корреспондент обещал написать о них в газете). Потом Фарадеевич при всех обнял нас с Явою, поцеловал и сказал:

— Если бы не вы — все бы погибло! Спасибо, друзья мои, спасибо!

* * *

А вскоре в клубе был товарищеский суд. На сцене за покрытым красной китайкой столом сидели председатель колхоза Иван Иванович Шапка, члены правления, Явина мама-депутат, дед Варава, дед Салимон и Галина Сидоровна.

А сбоку на скамье подсудимых насупленные Кныш с Кнышихою и немного в стороне взъерошенный Бурмило.

Мы выступали как главные свидетели обвинения.

И весь зал очень смеялся, когда Ява рассказывал, как он тонул...

Половина села выступило на этом суде. И все говорили, что тот, кто беспокоится о собственной шкуре и собственном кармане, не стоит доброго слова (это сказала Галина Сидоровна).

...Что он «внутренний диверсант» (это сказал дед Салимон).

...И если он может продавать за копейки свою совесть, торгуя её на

базаре, то за хорошую цену он и Родину не пожалеет (это сказал Гриша Чучеренко).

...И жаль, понимаете, что товарищеский суд не может присудить всыпать, понимаете, хорошенько за такие дела, как говорит один хороший человек, по западному полушарию! (это сказал мой папа).

...Но ничего, теперь они будут знать, что о них думает все село(это сказал Иван Иванович Шапка).

Громкий был суд.

А после суда к нам подошел Гришка Бардадым и сказал:

— Молодцы, босяки!

И шлёпнул своими граблями по затылку сначала меня, потом Яву.

Короче говоря, это был день нашей славы. Славы, о которой мы так долго и безуспешно мечтали.

...Но мы почему-то не испытывали той безумной радости, о которой мечтали. Чего-то нам не того хотелось.

...Что-то ело наши души, как ржавчина железо.

...Какая-то мысль.

И когда мы шли с суда, Ява её высказал.

— Мда, — произнес он задумчиво. — Всё это хорошо, но... одни глобулус выводят... космический. Другие мастерят что-то на транзисторах, полупроводниках. А мы... — он вздохнул, — только подштанники на телевизионную антенну вывешивать умеем. Это и дурак может. Да и не только дурак. Даже обезьяна.

— Человекообразная, — добавил я.

...И вот — лето уже позади, беззаботная свободная пора. Снова парта, снова каждые сорок пять минут звонок, снова: «Кто не выполнил домашнее задание, поднимите руку!», «Иди к доске», «Выйди из класса!». Обычная жизнь бывшего пятого, ныне шестого «Б».

Я сижу на своём обычном месте у окна, смотрю, как носится по двору наш Собакевич и думаю...

Я думаю о Кнышах, — говорят, они продают свою новую хату и уезжают куда-то на Харьковщину. Заговорила в них совесть после суда. стыдно односельчанам в глаза смотреть. Может, там, на Харьковщине, и людьми станут.

Вон Бурмило даже и пить бросил, и браконьерский инвентарь свой поломал и повыкидывал.

И еще я думаю(не впервые уже): «Почему всё-таки Кукурузо высадили на тот остров, что рядом с Высоким? Случайно? Стечение обстоятельств? Или, может, специально?».

Я уже спрашивал его.

Молчит.

Лишь улыбается...

Вдруг мысли мои прервал голос Галины Сидоровны:

— Рень, к доске!

И я чувствую, как мой правый локоть подскакивает вверх — это встаёт, поднимая крышку парты, мой сосед. Мой сосед и друг Ява (бывший Кукурузо). Разумеется, он таки сдал переэкзаменовку (а что же вы думаете!) и тоже перешел в шестой класс.

О, это были очень напряженные дни — после суда.

Сначала я только ходил под окнами у Реней и на всех цыкал. На Собакевича: «Цыц!» — не гавкай.

На корову Контрибуцию: «Цыц!» — не мычи.

На пестрого петуха: «Цыц!» — не кукарекай.

Следил, чтобы никто не помешал готовиться моему другу.

А потом я убедил его, что готовиться лучше вдвоём, что мне это тоже необходимо, я ничего не знаю. Сначала он упирался:

— Не надо мне твоих жертв!

Но я сказал:

— Да ты что — хочешь быть лучше меня? Хочешь все знать, а я, выходит, оставайся дураком неграмотным? Это нечестно, не товарищески!

И он вынужден был согласиться.

Весь август мы готовились вдвоём. Не скажу, что это было очень интересно, интереснее, например, чем играть в футбол или ловить рыбу... Но кто сказал, что для друга делать нужно то, что интересно?

На переэкзаменовку я пошел тоже вместе с Явою. И диктант мы писали вдвоём.

Галина Сидоровна сразу поняла, почему я пришел, и сказала:

— Садись тоже пиши, тебе это полезно.

И вы знаете, я написал хуже, чем Ява. Он сделал только две ошибки, а я три. Не зря он, чертяка, брал с собой «Грамматику» на необитаемый остров.

И вот теперь он стоит у доски и уверенно пишет упражнение. И ни разу не ошибся.

К слову, я знаю, что в книге «Робинзон Крузо» лежит у него бумажка с одним адресом.

Вряд ли кто-то бы стал беречь адрес просто так, не думая им воспользоваться.

Выходит, грамматика моему другу еще и, так сказать, особенно нужна. Отличнице безграмотное письмо не напишешь. Лучше сразу в колодец вниз головой.

— Молодец, Рень, садись! — говорит Галина Сидоровна.

И мой дружок, разомлев от гордости, медленно идет на место.

Сев за парту, Ява несколько минут молчит — пока не улеглись чувства, вызванные похвалой учительницы. Потом наклоняется ко мне и шепчет:

— Ну что — попробуем?

— Давай, — говорю я.

Мы нагибаемся и засовываем головы под парту. Ява вынимает из-за пазухи плоскую жестяную коробочку из-под конфет, из которой торчат разные винтики, шпунтики и проволочки. Это изобретенный нами механическое приспособление для расстёгивания пуговиц. Официального названия он еще не имеет и называется пока что условно «штукакенция» (не «штука» и не «штукенция», а именно «штукакенция», потому что каждое изобретение обязательно должно иметь своё название). Действует «штукакенция» очень просто: прикладываешь к пуговице, нажимаешь на кнопку — и готово. Только сначала надо, конечно, завести пружину. И вот Ява берет и начинает заводить.

Конечно, это вам еще не на транзисторах, не на полупроводниках, но...

— Крреkk!.. — неожиданно звонко на весь класс клацает пружина и, выскочив из коробки, бьет снизу Карафольку, который сидит перед нами.

Карафолька вскрикивает.

— У, растяпа! — шиплю я на Яву.

Но поздно! Будто гром с ясного неба, раздается над нами гневный голос Галины Сидоровны:

— Завгородний и Рень, выйдите из класса!

Красные как маки, вылезает мы из-за парты и друг за другом семенем к дверям.

Учебный год начался...

notes

Примечания

1

Жаботинский Леонид Иванович, тяжелоатлет, неоднократный чемпион СССР, Европы, мира и Олимпийских игр.